

К 1463 377



Р. Балакшин

A muscular man, depicted in a stylized, almost heroic manner, is shown from the chest up. He is holding a large red flag with a hammer and sickle symbol. He is standing in front of a large, multi-story building, possibly a government or institutional structure. The background is a dramatic, cloudy sky with a blue and white color scheme. The man's face is partially obscured by a large, stylized flame or fire effect at the bottom of the image.

СТРАСТИ ПО ДОМУ

Р. А. Балакшин

СТРАСТИ **по Дому**

Хроники смутных времён

Вологда
2014

УДК 281.93(470.12)
ББК 86.372(2Рос-4Вол)
Б20

Балакшин, Р. А.

Б20 Страсти по Дому: хроники смутных времён / Роберт Балакшин. – Вологда : Сад-огород, 2014. – 440 с.

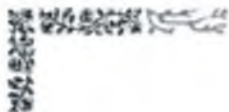
ISBN 978-5-905713-60-6

В новом произведении писателя-вологжанина Р. Балакшина описывается жизнь города на севере России с буднями и праздниками, с приключениями и яркими происшествиями. На эту жизнь оказывают своё воздействие и отражаются в ней грозные, эпохальные события 1991–1993 годов. Роман написан живо, увлекательно, хотя вопросы, встающие перед его персонажами, имеют серьёзную философскую и историческую подоплёку. Как и все произведения писателя, роман насыщен историческими реалиями и полезен читателю в мировоззренческом и познавательном смысле.

**УДК 281.93(470.12)
ББК 86.372(2Рос-4Вол)**

ISBN 978-5-905713-60-6

© Балакшин Р. А., 2014
© Оформление. ООО «Издательство
«Сад-огород», 2014



Роберт Александрович БАЛАКШИН, прозаик, публицист, переводчик. Родился в 1944 году в деревне Коротыгино Грязовецкого района Вологодской области. Окончил строительный техникум (1964), Вологодский пединститут (1981). Служил в Советской армии (1964–1967). В 1985 году принят в члены Союза писателей. Лауреат премии СП России «О, русская земля!», государственной премии Вологодской области по литературе. Номинант Патриаршей премии по литературе. Награждён медалью св. блгв. кн. Даниила Московского, прп. Кирилла Белозерского, медалью «20 лет Победы в ВОВ», орденом Сталина. Автор более сорока книг прозы, в том числе двухтомника «Жития святых для детей», изданного Московским Сретенским монастырём, книги о св. блгв. князе Дмитрии Донском, «Сказки из волшебного сундука» Р. фон Фолькманна.



И целый мир, как опьянённый ложью,
Все виды зла, все ухищренья зла!..
Нет, никогда так дерзко правду Божью
Людская кривда к бою не звала.

Ф. И. Тютчев

ГОД ПЕРВЫЙ

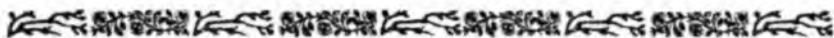


Преображённая Россия



Суровое время, горячее время
Пришло для Отчизны родной.

В. И. Лебедев-Кумач



I

Весна в Тиховодск, старинный русский город на севере России, в этот год пришла поздно.

Зима была обычная, с морозом, снегами, с февральскими метелями, мартовскими морозцами. Ждали весну, а она не шла. Небо в снеговых тучах, северный ветер, в марте одевались, как в январе, в шубы да тёплые пуховые платки. В середине дня что-то капало с крыш, но так нехотя, словно в одолжение.

А ночью задул южный ветер, расчистил небо, и за какие-то полторы недели солнце натворило таких чудес, какие и бывают только весной. Замаслился заledenевший снег на тротуарах, побежали ручьи, стало опасно ходить вблизи домов, появилась липучая грязь. И по самой каёмке исхудалого сугроба бойко прострелили и протянули к небу зелёные шильца первые, нетерпеливые травинки.

И вот, когда просохла земля и берёзки покрылись зеленым дымком первой листвы, начальник производственного отдела Иван Мигунов, высокий полный, с большим животом и грубым лицом, типичный в представлении рабочих «шишка», позвал к себе в отдел мастера Романа Латышева и с усмешкой сказал ему:

– Завтра бери на базе трейлер, грузи экскаватор и начинай, – он полу-дружески, полу-покровительственно потрепал Романа по плечу. – Руководство треста оказывает тебе, молодому специалисту, высокую честь: начать закладку трестовского дома отдыха. Так что ты первопроходец.



– Окажите эту честь кому-нибудь другому, а я потом приду на готовенькое, – глядя в смеющиеся, но равнодушные глаза Мигунова возразил Роман, – и, кстати, я работаю в тресте уже седьмой год.

– Давай, давай, пошутить нельзя. Чтобы завтра в восемь выезжал за ворота базы.

– А если сядем, забудемся, недельку бы – другую погодить, земля ещё сыровата.

– Какое, сядем, – басил Мигунов, – такой-то молодец да сядет.

Дом отдыха был задуман и спроектирован с размахом. Чтобы, говорил управляющий трестом, не стыдно было товарищей из Москвы пригласить. Трест был одним из лучших в главке, и московские товарищи были частыми гостями на вручении переходящих знамён и следовавшей за вручением обильной обмывкой. В доме были распланированы двух- и одноместные номера повышенной комфортности, обширный обеденный зал. В подвальном этаже предусматривалась вместительная холодильная камера, бильярдная, сауна с бассейном...

– И с девочками, конечно, – говорил в коридоре Жора Усиков, инженер из ПТО, из породы до пенсии молодящихся, со стрижкой ёжиком, мужчина.

– С какими девочками, – больше для проформы спрашивал Роман, которому ехать туда ужасно не хотелось. Одна нервотрёпка, как обычно бывает при открытии нового объекта, с премиями же начальство не шибко разбежится, себе выпишут два, а то три оклада, а линейным мастерам сотнягу в зубы и будь доволен.

– Он спрашивает с какими! – нашими, советскими. Со знаком качества. – Усиков все разговоры сводил к девочкам. И ладно бы молодой парень, а ведь мужик в годах, сын и дочь взрослые. Он коллекционировал порнографические открытки. Заводил знакомства, ездил в Москву, встречался с кем-то. Но коллекция пополнялась туго. А сейчас, когда с этим делом стало значительно свободней, собирательский задор у него вдруг пропал. Когда прежде Жору пробовали стыдить,



вызывали в партком, он, не моргнув глазом заявлял, что осуществляет своё конституционное право на свободу. Но вот бравировать стало нечем. Роль порнографии в становлении молодой российской демократии выполнила свою роль.

Роман неохотно разговаривал с Усиковым.

– Ну, а как у нас, молодое дарование, дела на литературном фронте, – прилипчиво зудел Усиков, – когда начнём «Войну и мир»? А как поживает Внуков?

Несносный Жора переступил рамки. Роман был начинающим писателем, пробовал писать рассказы, но в эту часть души он не пускал никого.

– Не твоё драное дело. Не лезь, куда не просят, – вспыхив, он оттолкнул Жору и выскочил на улицу. От «молодого дарования» его передёрнуло, но кто дал ему право приплетать сюда Внукова?

– Ты, Рома, строй, а мы отдыхать, оттягиваться будем, – кинул вслед ничего не стыдившийся Усиков.

Мигунов оказался прав: земля просохла, КРАЗ, тащивший трейлер с экскаватором, нигде не сел и остановился на положенном месте. Васька- экскаваторщик вместе с шофёром быстро сбросили сходни – железные мостки с наваренными поперёк них прутьями.

Забравшись в будку своей боевой землеройной машины, Васька принялся ворочать в ней рычагами. Экскаватор затрясся мелкой противной дрожью, захрипел, заворчал, как разбуженный мамонт, заплевался чёрно-сизыми лохмотьями смрадного дыма, взревел и, наконец, загудел ровным гулом работающего двигателя. Тронулся с места.

Роман пятился мелкими приставными шажками, медленно полусгибая ладони.

– Давай, давай! – приговаривал он съезжавшему с трейлера экскаватору, в кабине которого виднелась физиономия Васьки. Молодого, только что отслужившего в армии парня, забубённого выпивохи и лодыря. В правом углу рта Васькиного рта свисала прилипшая к губе, потухшая папироса.



Экскаватор, неприятно скрежеща гусеницами, осторожно полз по коротким железным сходням, вот коснулся передними гусеницами земли и стал выравниваться. «Интересно, – подумал Роман, – как можно сказать о гусеницах драглайна передние. Это же бесконечная лента».

Качнувшись с бока на бок, экскаватор стал на землю. Замер, намертво примяв молодые травинки. Мигом Васька выбрался из кабины, сел на гусеницу, закурил, всем видом показывая, что работать больше не будет. Такова была традиция: первый день приезда на объект, был своего рода выходным, экскаваторщик болтался туда-сюда, для вида колупался в двигателе, счищал землю с ковша, но ничего не делал.

Метрах в ста отсюда виднелась река, на другом берегу которой тянулось мелкоколесье. Отлогий берег с заливными лугами, лес и бор на другом берегу представляли собой обычную картину северо-западной полосы России, как говорят экскурсоводы, картину неброской северной красоты, но тем не менее она трогала душу. Тут было и русское раздолье, и равнины, и долины. Было именно то родное, о чём вспоминает русский человек на чужбине, что запечатлел в своём стихотворении Феодосий Савинов.

– Тут с удочкой посидеть можно, – мечтательно, нараспев говорил Васька, – а на том бережку и с ружьишком побродить. И рюмочку – другую с устатку опрокинуть. И книжечку какую ни то почитать можно.

Роман слушал Ваську с тем же чувством, с каким Николай Ростов вёз с дуэли Долохова. Кто бы подумать мог, что Васька, пьяница и прогульщик, несносный матерщинник, у которого без мата слово не обходилось, так расчувствуется. Больше всего Романа задела слова его о книжке. Неужели он что-нибудь читает? Ведь одной из любимых Васькиных шуточек-прибауток была прибаутка о букваре, который он искурил на пару с братом.

Однако для Романа было нестерпимо думать, что этот бездельник так и просидит весь день на гусенице, качая ногой в полуботинке на босу ногу.



– Василий, – сказал он фальшиво-дружеским тоном, ненавидя себя за это наивное подхалимство, – надо бы чего-нибудь поделать.

– Ну, Рома.

– Что, Рома? Ладно бы с обеда тебя привезли, а то по утрам. Весь день загорать будешь? А если кто придет?

– Рома, – миролюбиво возразил Васька, – какой дурак поедет в такую даль.

– Представь себе, Мигунов грозился, – соврал Роман.

Имя Мигунова, знавшего матюгов не меньше Васьки, возымело действие.

– Я уж и танк свой заглушил, – слабо попытался постоять за традицию Васька.

– Снова заведёшь, невелика хитрость.

Васька недовольно бросил окурочок возле гусеницы, вдавил его каблуком в землю, забрался в начавшую накаляться на солнце будку.

– Вась, – крикнул Роман, приложив ладони сбоку рта:

– Пройди сегодня хотя бы метров пять – шесть.

– А потом сломаюсь? – Васька радостно высунулся из будки. Роман махнул ладонью.

Ковш тяжело рухнул на землю, пополз, вбирая в свою стальную утробу ленту дерна метровой ширины.

Роман пошёл прогуляться до речки. Сзади слышался рокот экскаватора и звуки хлопавшегося на землю ковша. Думалось о сынишке в саду, о жене, о новом рассказе. Хотелось и мечталось написать что-то такое, большое, серьёзное, чтобы Внуков похвалил.

Внезапно за спиной кто-то громко произнёс его имя. Роман оглянулся, сзади никого не могло быть кроме Васьки и экскаватора.

Да, сзади в воздухе раскачивался ковш экскаватора, из которого тонкими, пылящими струйками сыпалась земля. Но в следующий миг Роман обмер. В земляных струях обозначился и полетел на землю, какой-то странный предмет, другой, третий. Похожие на шары. Мячи? Какие могут быть в земле



мячи. Пушечные ядра. Чугунки, – сбивчиво думал Роман, спеша назад. На краю ковша показался ещё один шар и, прежде чем он долетел до земли, Роман понял, что это человеческий череп. Несколько черепов. Откуда они могли тут взяться?

Он остановился на краю короткой траншеи. Ковш углубился в землю метра на полтора. На дне траншеи виделись человеческие кости, упавшие из ковша черепа.

Из экскаватора выпрыгнул и подбежал Васька.

– Екира мара, – озадаченно произнёс он, почёсывая затылок.

– Попрошу, хоть в этот раз без мата, – раздражённо оборвал Роман.

– А чего я сказал, Рома?

– Уже не замечаешь за собой.

– Не, в натуре, чего это будет-то? На чего похоже?

– Откуда я знаю. Спроси, что-нибудь полегче.

– Может, кладбище тут было.

Эта простая и всё объясняющая мысль как-то не пришла ему в голову. «Конечно, кладбище», – облегчённо вздохнув, подумал Роман. Но на каком кладбище черепа лежат так тесно, что ковш за раз загрёб их чуть не десяток. Проект согласовывался в горисполкоме, жилкомхозе. Вспомнив муторный процесс согласования проекта в райисполкоме, Роман отверг догадку Васьки. Если кладбище и было, то какое-нибудь необычное, тайное. Однако при согласования проекта со стороны соответствующих органов замечаний не было.

Шофёр КРАЗа, как и Васька, считавший, что на сегодня он сделал большое дело, в город не торопился и, увидев, что происходит что-то необычное, подошёл к ним.

– Чего тут у вас? Кричите, бегаете.

– Черепа мы нашли.

– Да ну, – шофёр глянул в траншею на тёмно – коричневые в тон земле кости и сразу отошёл. – Не люблю покойников.

Нужно было что-то делать. Сообщить на работу.

– Слушайте оба. Никому ни слова. Тут дело государственное, – сказал Роман и повернулся к шофёру. – Поехали в сельсовет.



Громыхая пустым трейлером, они приехали в деревню, что была в трёх километрах отсюда. Сельсовет оказался закрытым. Телефон есть на почте.

В тресте не могли понять, о чём он говорит. Все оказались такими тупыми. Главбух, считавшая себя самым умным человеком в тресте, а рабочих, прорабов и мастеров называвшая быдлом и недоумками, не могла взять в толк о каких черепах он говорит ей, и что такое вообще череп. Мигунов уехал на объекты. Разобрался в вопросе и дал команду никого не подпускать к раскопу секретарь парткома, мужик деловитый и рассудительный. Он сейчас приедет и разберётся.

Шофёр КРАЗа не стал ждать конца разговора, чего-то испугавшись, он рванул в город, едва Роман скрылся за дверью почты.

Обратно на траншею надо идти пешком. Пересекая широкий луг, сбегаая с холма, Роман думал, что с черепами что-то связано не хорошее. Это, как говорится, ежу понятно или к бабке не ходи. Он нахватался этих пустых, бессмысленных выражений у мужиков, работяг, давал себе обещание, не употреблять этих слов, но в трудные минуты они сами лезли в голову.

Великая Отечественная до нас не дошла. Братская могила, в которых, как говорят, валили всех вповалку, отпадала. Такое количество черепов наводило на мысль о преступлении. Иначе как объяснить такое плотное расположение черепов и обилие костей. Года три назад бригада Думенкова прокладывала ливнёвку у ГПТУ, и при прокладке траншей обнаружили слои костей. Но там ещё до революции была городская бойня. А здесь-то что? Километров пять или шесть от города. Секретарь приедет, всё растолкует.

Но вперёд секретаря приехали другие.

– Едут, – подбежав к раскопу, сказал Васька. – Лягаши. Явились, не запылились.

– Ну насчёт не запылились, это ты зря, – запыхавшийся, в мокрой рубаше сказал Роман.

По просёлку сюда катила, оставляя за собой высокий, рыжий хвост пыли, милицейская желто – голубого, петлюров-



ского окраса машина. «Как они узнали?» – подумал Роман. Ему было невдомёк, что на почте, за стенкой сидел участковый и слышал всё, что он говорил.

Из милицейской машины вылез толстомордый, так что щёки у него тряслись при ходьбе старший сержант, сразу не понравившийся Роману. Подойдя ближе, не здороваясь, он подошёл к траншее, заглянул в неё.

– Кто-нибудь спускался вниз? – спросил он.

Роман и Вася молчали.

– Вы чего, глухие? – спросил он Романа.

– Вас в детском саду учили здороваться? – с чувством хозяина находки, к которому является неизвестно кто и начинает качать права, сказал Роман.

Старший сержант не ответил и распорядился:

– Место обнаружения захоронения неизвестных останков обнести кольями, – и, шагнув к машине, взял там моток разноцветной ленты.

«Вот наглый пёс», – подумал Роман и не двинулся с места.

Старший сержант, за десять лет службы привыкший, что у среднестатистического советского гражданина при виде милиционера отключается воля и он беспрекословно исполняет приказания, начал бешено постукивать кулаком по ладони.

– Я кому сказал? – возвысил он голос.

Васька уже давно порывался соскочить с гусеницы, но Роман, севший рядом, держал его за штанину: чего этот «мусор» себе позволяет, что в самом деле за хамство.

– Тебе надо, ты и обноси, – сказал он предательски осекшимся на последнем слове голосом.

– Ты... ты... – побагровев и щёки его затряслись ещё сильнее, переполняясь злобой, прошипел старший сержант, – я тебе покажу.

– Ничего ты мне не покажешь, – смелея от решимости возражать и, набираясь ещё большего хладнокровия, сказал Роман. – Ты мне не начальник, ты мне – никто. Это, во-первых. А во-вторых, попрошу мне не тыкать.



На дороге опять взвился хвост пыли, кто-то сюда ехал. Иначе стычка с милиционером могла иметь неприятные для Романа последствия.

Старший сержант не уступил бы, тем более, что за всем происходящим наблюдал, готовый придти к нему на помощь водитель, милиционер с ефрейторскими лычками.

Выручил Романа приехавший секретарь парткома треста, заодно прихвативший с собой Мигунова, который по представительности и внушительности фигуры мог дать сто очков вперёд любому генералу, даже армии.

Поведение милиционера изменилось во мгновение ока. Почуввав присутствие начальства, хамить он не смел, всем говорил «Вы», даже Василию, с которым вместе как самая мелкая шестёрка втыкал колья и натягивал ленту.

Приехали ещё две милицейские машины, одна с майором, другая с целым полковником. Полковник запретил всем подходить к раскопу и сказал, что работы тут прекращаются на неопределённое время.

Секретарь парткома сказал Роману, что завтра сюда приезжать не нужно.

– Приходи с утра в трест, я тебя определяю, – сказал Роману Мигунов.

Секретарь с Мигуновым укатили в город на «Волге», а они с Василием добирались на рейсовом автобусе. В «Волге» были свободные места, но...

– Ну, Роман, ёк мокорёк, я тебя уважаю, – говорил Василий, когда они шли просёлком к шоссе, – Как ты с ментом лаялся. Здорово ты его отсобачил. Оборзели совсем, с простыми людьми и разговаривать по-человечески не хотят.

– Я не лаялся, а говорил, я не собака, – сказал Роман, всё же польщённый похвалой Васьки, – и брось ты «ёки» свои, надоели.



Рабочий день промелькнул незаметно. Кажется, совсем недавно он выезжал с трейлером из ворот базы, а уже вечер. С автобусной станции Роман отправился за сыном в детский сад.

Сад располагался во дворе за старой почтой. Шагая вдоль штакетного заборчика, едва доходившего ему до колена, слыша щебечущие детские голоса, Роман испытывал, как обычно, светлое, умирительное чувство. И та же мысль, которая приходила к нему только в этом уголке невинной бескорыстной радости и света, вновь посетила его: как получается, что происходит с детьми, что, вырастая, они становятся мошенниками, ворами, убийцами. Конечно, не только ими, гораздо больше среди них вырастают людей честных, добрых, добропорядочных, но неужели этим милым, улыбчивым человечкам в штанишках на помочах уже сейчас предназначено кому-то быть учителем, врачом, а кому-то торговать селёдками на рынке или стать милиционером. Странно, но эти мысли приходили к нему именно в саду. Видимо, у мыслей есть своё определённое место жительства.

Саша с двумя мальчиками строил в песочнице замок и так увлёкся, что, увидев отца, не бросился к нему, а продолжал строить, так что Роман ждал у песочницы, пока дети прилаживали из двух палочек от мороженого мост через ров.

Роман искал взглядом по площадке, чтобы сказать воспитательнице, что взял ребёнка. Её не было

– Саша, а где воспитательница?

– Она в том алете, – ответил сын, посмотрев от песочницы на отца.

Роман расхохотался.

Саша по детскому обычаю изобретать новые или истолковывать по – своему непонятные слова, «туалет» произносил как существительное «алет», и указательное местоимение «тот».

– Туалет, Сашка, туалет, – смеялся он. – Скажи: туалет.

– Тот алет, – упрямо повторил сын.



– Ах, ты! – Роман подхватил сынишку на руки, поцеловал в обе грязные, в песке щёки. – Саша, – сказал он. – Это хорошо, что ты хочешь настоять на своём. Но тебе уже шесть лет, надо говорить правильно. Тот алет, это твоё слово, только твоё, для других людей оно ничего не обозначает. Если каждый начнёт говорить придуманными им словами, в мире наступит страшная путаница.

Несколько метров они шли молча. Наконец, Саша, о чём-то думавший, сказал:

– Папа, я буду говорить правильно. Туалет.

– Хорошо. Умение признавать свои ошибки – важное качество.

Дворами они вышли на улицу Лермонтова и, миновав церковь Иоанна Предтечи, шли у драматического театра. Об этом здании писалось в своё время немало восторженных заметок и статей. Журналисты, видимо, по врождённой тупости полагающие, что современное – это непременно новое, взалёб строчили, что, наконец-то, Тиховодск украсился зданием современной архитектуры. А театр был убогим образчиком конструктивизма: на распластанный параллелепипед был поставлен громадных размеров куб. (Чтобы обезобразить старинный уголок города было снесено три квартала деревянной застройки.)

Когда они шли по плитам, выстилавшим двор у театра, Саша, перебив отца, рассказывавшего ему о Добрыне Никитиче, сказал:

– Папа, а мы сегодня в саду наперегонки бегали.

– И кто победил? – прервав на время повествование, спросил Роман.

– Я. Я быстрее всех в саду бегаю.

– Молодец, – Роман погладил Сашу по голове.

– Я и тебя быстрее бегаю, – из детского хвастовства и желания быть первым, сказал сын.

Роман усмехнулся.

– Давай померяемся, – предложил Саша

– Не надо, сынок, – ответил Роман. – Я перегоню тебя.



– Ну давай, папа, ну давай, – настаивал сын. – Не перегонишь, я обещаю тебе.

– Ты знаешь, что такое гандикап?

– Не знаю.

– Гандикап – это значит преимущество. У нас силы неравны, я же сильнее тебя?

Сын молча кивнул.

– Поэтому я выпускаю тебя вперёд, ты имеешь передо мной преимущество. Понял? Иди на пять плит впереди меня. Громко считай до трёх, и бежим. Финиш – конец ступенек.

Несколько секунд спустя, улыбающийся Роман догонял, работавшего что было сил ногами и руками мальчугана. Ещё мгновение и он обгонит его.

Роман на бегу подхватил сына под мышки и, держа над головой, пересёк воображаемый финиш.

– Победил Александр Латышев, Советский Союз! – провозгласил он, опуская сына на землю. – Будешь, будешь перегонять папу, но не сейчас. Подрасти надо.

Вечером, когда после работы пришла Надя и они поужинали, наступило время, которого Роман ждал с утра.

Около двух недель назад он снёс Внукову свой новый рассказ, и эти дни были заполнены ожиданием ответа от Внукова, одобрит рассказ или разнесёт на все корки. Утром перед работой, из треста он позвонил по телефону и Викторин Андреевич сказал, чтобы он приходил.

– Поехал я, – сказал он Наде, вывозя из крыльца велосипед.

Проехав через центр города, он вскоре зарулил во двор дома на Ленинградской.

Оставив велосипед у среднего подъезда, Роман с холодком волнения в груди поднялся на третий этаж. После службы в армии, на которой он дважды побывал на «губе» и в глазах командиров заслужил не лестную репутацию нарушителя, тем не менее, когда он вступал на эту лестницу и шёл к человеку, который не мог ему ни дать наряда, ни объявить суток «губы», он чувствовал, как сердце его начинало биться и желание вернуться, сесть на велосипед и уехать домой, охватывало его.



Много позднее Роман понял, что это волнение было не перед человеком старше его, а перед литературой, перед мастером литературы, который много знал и умел. Это было вполне естественное волнение добросовестного ученика, желающего стать мастером.

Вот и знакомая дверь. Он так часто стоял перед ней, не решаясь нажать кнопку звонка, что, наверное, изучил все шляпки гвоздиков, узорчато усеивавших дерматиновую обивку.

– Войдите. Не заперто, – слышалось за дверью.

В прихожей его встретила Анна Григорьевна, жена Внукова, полная коренастая женщина с кудряшками волос цвета соломки, с улыбочивым взглядом бойких глаз.

– Здравствуй, Роман, – сказала она, – проходи. Викторин Андреевич у себя.

Роман вошёл в комнату, кабинет Викторина Андреевича с цветной фотографией, изображавшей ружьё и двух подстреленных уток, диван с торшером, соединённым с шахматным столиком и громадным во всю стену стеллажом с книгами, приятно, радостно и завистливо поразившим его, когда он зашёл сюда в первый раз. Письменный стол, с двумя высокими стопками папок на правом и левом углах.

– Вот, Роман, – сказал ему как-то Викторин Андреевич, – со всего Союза шлют, и пока не прочитаю да не отвечу, сам писать не могу. Времени съедают уйму, а отказаться не в силах, люди где-то ждут.

– Здравствуйте, Викторин Андреевич, – сказал Роман, закрывая за собой дверь кабинета.

– Здравствуй, здравствуй. Садись, – Внуков показал на стул.

В возникшей долгой паузе Роман ещё раз осмотрел кабинет и нехорошее предчувствие шевельнулось в душе: провал, опять провал, жалеет Внуков, специально тянет время, ничего не говорит. Почему же я такой бездарный? Ну почему? Роман посмотрел на Внукова, на его худощавую, начавшую полнеть фигуру, на кустистые, козырьком над глазами брови.



– Прочитал я твой рассказ, – глуховато сказал, наконец, Внуков.

Роман впился взглядом в его губы. Что они скажут сейчас?

– Порадовал ты меня, честное слово..

Тёплая, лёгкая волна плеснула в лицо Романа.

– ...честное слово. А то я уж сомневаться начал, тем ли мы с тобой делом занимаемся, не воду ли в ступе толчём. Вроде всё ты понимаешь, а топчешься на месте. Ты шагнул вперёд. И как хорошо ты ухватил солдатскую жизнь, чувствуется, что автор (сердце Романа сладостно сжалось от слова «автор», применённого к нему) хорошо знает и любит, о чём пишет. Давно я тебе говорил: учись овладевать словом, описывая простые ситуации и предметы, хорошо знакомые тебе, да, видать, не сразу до тебя доходит, медленно в душе зреет. Что ж, бывают и такие писатели (сердце Романа радостно вздрогнуло от «писателя»), и их немало. Пойдём-ко, изопьём чайку, засиделся я.

На кухне уже кипел электрический самовар, и Анна Григорьевна разливала в чашки чай. В берестяной плетёнке («Надо нам с Надей такую же купить, видел недавно» – подумал Роман) лежало дефицитное овсяное печенье и соломка, за которой ездят в Москву.

Анна Григорьевна тоже читала его рассказ и нахваливала Романа за язык, за солдатскую лексику.

Роман пил чай и плохо понимал, что ест и о чём говорит, отвечал на вопросы Викторина Андреевича, насмешил хозяев рассказами из армейской жизни и, изо всех сил желая рассказать что-то необычное, рассказал о сегодняшнем происшествии на работе. Рассказал как о каком-то курьёзе, о чём-то забавном, но Внуков отнёсся к его рассказу с величайшей серьёзностью и принялся расспрашивать его о подробностях, но Роман мало что мог сказать о них.

Правый глаз Внукова, раненый на фронте и сильно косивший, придавал его лицу странное выражение: левый глаз смотрел на собеседника прямо, открыто, а правый глаз словно подсматривал со стороны, словно хотел сказать: сейчас, бра-



тец, посмотрим мы, кто ты на самом деле. Сегодня этот глаз, которого Роман побаивался, весело улыбался ему, говорил: не тушуйся, не робей.

Роман крутил педали, и ветер радости реял в его душе. Он вспоминал подробности разговора, подробности чаепития, слышал смех Внукова, видел улыбку Анны Григорьевны, и дома во всех подробностях рассказал об удачной и радостной поездке Наде, перечитывал рукопись, особо останавливаясь на тех местах, которые хвалил Внуков и думал: неужели это я написал...

III

А Внуков, едва за Романом затворилась дверь и по лестнице застучали каблук его ботинок, набрал номер телефона и, услышав в трубке голос, сказал:

– Володя, привет. Это я. Если ты не очень занят, приди, у меня для тебя есть любопытная новость.

Владимир Степанович Животов, офицер КГБ, давний знакомый, даже друг Внукова, жил в соседнем подъезде и через пять минут поднимался к нему по лестнице.

Уже на втором этаже Животов услышал игру на фортепиано. Обычно так играют ученики первого класса музыкальной школы. Паузы между нотами длинные, туше сильное. Про такую игру говорят: «давит мух». С улыбкой, зная, кого он вскоре увидит, Владимир Степанович остановился на лестнице. Паузы значительно укоротились, а когда он ступил на площадку третьего этажа, пальцы начинающего, шестидесятипятилетнего музыканта выстроили из нот узнаваемую фразу.

Внуков встретил его в прихожей.

– Заходи, заходи, Вовочка, герой анекдотов, – говорил он, обмениваясь с Животовым рукопожатиями.

– Ты один? – спросил Владимир Степанович, рослый, статный брюнет, с копной тёмно-каштановых волнистых волос.



– Какая разница, один не один. Мы ж с тобой не бутылку раздавить тайком собрались. Проходи, я тебя порадуя своей находкой, – говорил Внуков, взяв его руку у запястья и локтя, проводя в комнату.

– Да я уж слышу, – подходя к пианино, говорил Животов. – Всё мух давишь.

– А ты и так не умеешь.

– Я что. А от твоей игры Пётр Ильич, должно быть, в гробу переворачивается.

– Не дурак ведь Пётр Ильич, понимает что ни Серебряковым, ни Рихтером я становиться на собираюсь. Зато смотри, что я отыскал.

Внуков сел за пианино и одним пальцем медленно, но довольно уверенно и чисто проиграл фразу из первого действия «Пиковой дамы».

– Вот это гувернантка «Девушкам вашего круга, надо приличия знать», – пропел он. – А вот в этом месте, её ещё нет, а в музыке она уже звучит, – и Внуков согнутым пальцем, как клювом, застучал по клавишам.

– Молодец, – похвалил Животов друга. – Это мне напоминает изучение Нагульновым английского языка. Как тебе не лень изобретать велосипед? Ведь вся «Пиковая дама» музыковедами разложена по полочкам, возьми да почитай.

– Что за радость идти по протоптанному кем-то следу, мне самому хочется найти.

На старости лет Внуков решил научиться играть на пианино. В Древней Греции человек считался неграмотным, если не умел плавать. А в наше время стыдно называться культурным человеком и не владеть ни одним музыкальным инструментом. Несмотря на немзыкальные пальцы, которые Анна Григорьевна называла сосисками или сардельками, кому как понравится, Внуков купил самоучитель и каждый день проводил академический час за пианино и начал делать кое-какие успехи.

– Но вот что интересно, – заметил Внуков, – два величайших творения русской культуры были созданы за границей



«Мёртвые души» в Риме, а «Пиковая дама» во Флоренции. Что ты об этом думаешь?

– Я думаю, что Брюллов «Последний день Помпеи» писал не в России, а Иванов писал «Явление Христа народу в Риме. Это первое. Второе, Есенин сказал: «Большое видится на расстоянии». А третье, ты меня зачем сюда позвал, чтобы проверять мои знания или побахвалиться своими? Что за манера, ходить вокруг да около? Говори, что звал? Давай, что у тебя. Из-за тебя я с третьего этажа спускался, да на третий поднимался.

– Сейчас я тебе всё скажу. Раньше таких, как я, у вас звали информаторами. На них вся ваша контора и держалась. Без них вы бы пропали.

– Ну хватит, Витя, – начал злиться Животов, – что ты из меня жилы тянешь.

– Сегодня обнаружено массовое захоронение.

– Не может быть, – искренне изумился Животов, – у нас такая информация не проходила.

– То-то, что не проходила. Записывай, – и Внуков продиктовал данные, которые выпросил у Романа.

– Спасибо Витя, спасибо. Я от тебя позвоню,

Животов набрал номер дежурного по комитету. Действительно, там ничего не знали. Из УВД обязаны были сообщать о всех подобных случаях, но, как случается, произошёл сбой.

– Ты, прости, я на тебя тут прикрикнул.

– Пустяки, – Внуков пожал руку Животова. – Дело житейское, ты ж полковник, а я рядовой. Про нас и в уставе внутренней службы написано: терпеть.

– Хватит, – посмеивался Животов, переступая порог, – не пишут такую чушь ни в каком уставе.

– Ну что ты с такими людьми поделаешь, – всплеснул руками шутник Внуков, – им говорят есть, а они твердят нет. Это у вас, в комитетском уставе нет, а в нашем пехотном есть.

И пока Владимир Степанович шёл до первого этажа, ему слышны были притворные «ахи» и «охи» про плохие уставы в КГБ.



IV

Рассчитывая поставить Романа ведущим мастером на дом отдыха, главный инженер треста снял с него все иные объекты. Но, поскольку доступ на дом отдыха был закрыт, Роман, как шутили его друзья, мастера и прорабы, оказался единственным советским безработным.

С утра он пришёл в трест, но трест гудел, как взбудораженный улей, никому ни до чего не было дела.

Весь трест только и занят был тем, что разговаривал. Вчерашняя страшная, непонятная, загадочная находка взбудоражила, переполошила всех.

Роман поразился скорости, с какой распространился слух о таинственной могиле.

Он никому не говорил о ней, дома сказал только Наде. Но в тресте об этом знали все, вплоть до уборщиц.

Сам не желая того, Роман стал героем дня. Его попеременно затаскивали сначала в приёмную управляющего, потом в бухгалтерию, в плановый, в экономический, в сметный, в отдел снабжения. И все требовали рассказа. А что он мог рассказать кроме того, что видел падающие из ковша черепа. Но это и вызывало у женщин самый большой интерес, женщины, казалось, воочию видели, как падают черепа, начинали всхлипывать и ругать проклятую сталинщину.

Роману задавали вопросы, на которые он не мог ответить. Он рассказывает в плановом отделе, а в отделе снабжения его уже ждут.

К обеду он так измучался от хождения по кабинетам, от рассказов одного и того же, что с обеда улизнул на ремонтно-техническую базу треста, надеясь обрести тут покой.

Но едва он зашёл на базу и сел в курилке у железной бочки, где в ржавой, вонючей воде плавали окурки, как его спросили и он понял, что, как Лермонтовский Парус, покоя он и тут не найдёт.

И вдруг спасительная мысль озарила его: он же забыл в будке на объекте, где у него был стол, теодолит. При виде



черепов теодолиты, нивелиры, рейки и прочая геодезическая мура мигом вылетели из головы. Теодолит надо было спасать, он ведь денег стоит, да не маленьких. А деревенская детвора, которой три версты – не околица, живо взломают дощатую будку и уволочут теодолит, только его и видели.

Мигунов, когда Роман пришёл просить машину съездить за теодолитом, показал на практике, что Васька по части мата рядом с ним младенец. Он обрушил на Романа кучу обидных прозвищ, из которых разгвоздья и долбохлёб были самыми мягкими, но машину(самосвал) дал, добавив однако:

– Если посеешь теодолит, управляющий по головке не погладит. Даю тебе час времени. Одна нога здесь, другая там. Ни минутой больше. Ты меня знаешь.

«Уж как получится», – подумал Роман, залезая в кабину.

Местность за эти сутки неузнаваемо изменилась. Раскоп и большая часть луга были обнесены забором из свежего тёса. «Как они быстро», – думал Роман, не зная, кто эти они, чудоден, воздвигшие плотный, без щелей трёхметровый забор. Мало того, со стороны реки было устроено самое настоящее КПП, которым заправлял сверхсрочник старший прапорщик с чудными, каких Роман не видывал, голубыми петлицами. Ясно, что это не авиатор, цвет этих петлиц был гуще светло-небесного цвета авиационных петлиц.

– Куда идём? – спросил, позёвывая, хозяин КПП.

Роман объяснил, что он мастер строительства, ему нужно взять теодолит. Он просит его не задерживать, так как машину дали ненадолго.

– А чего это такое тео... тео? – прапор явно затруднялся выговорить слово.

– Теодолит это геодезический прибор, применяющийся при строительных работах. Геодезия это наука об измерении Земли, – наставительно, как школьнику объяснял Роман. – Пропустите меня, пожалуйста. Я не задержу вас. Это минутное дело. Откройте дверь.

– Не открою, – по-хамски огорошил его обладатель невиданных петлиц. Роман знал этот тип людей: обладая микро-



скопической властью, и даже не властью, а правами на один грамм, больше чем у других людей, они любят покуражиться, показать себя.

– Почему не откроете?

– Не положено.

– Позовите тогда ваше начальство.

– Не позову.

Роман не стал спрашивать «почему», зная ответ, и решил действовать единственным остававшимся ему способом.

Он пошёл направо, через проходную.

– Э-э! Куда? – опешил хам. Выскочив из-за стола – времянки, он оказался плечистым верзилой под два метра, с длинными мосластыми руками.

Роман рванулся от верзилы, не тут-то было, верзила оказался необычайно сильным и крепко держал его за плечи. Роман крутнулся и эта попытка оказалась безуспешной.

Вместе с Романом желала проникнуть за забор девушка с телекамерой, приехавшая раньше его. Она ругалась с прапором, доказывала, что она по закону имеет право на получение информации.

– Только на общедоступных объектах, – лениво возражал прапор, – а на объектах закрытых – только с усмотрения начальства. Может, вы шпиёнка, а я вас пусти.

– Никакая не шпиёнка, – выделив «Ё», отвечала девушка, – я уже второй час втолковываю вам, что я корреспондент.

– Да мне-то что, – пропуска нет и не пушу. Да хоть бы и был, – прибавил прапор, закуривая, – я бы ещё подумал.

– Это почему?

– Не люблю я вас, журналистскую шатию-братию. Врёте вы всё.

– Что конкретно?

– Научились у вашего Солженицына врать, и пишете всякое враньё. Я бы вас как в тридцать седьмом году. Послушать вашего Лженицына, так столько людей было погублено... Ну, дурак, ну, дурак, – прапор качал своей крупной, как арбуз, головой, словно сокрушаясь, что русская земля могла породить такого вряля.



Девушка, оскорблённая, что какой-то тупой вояка (в званиях она не разбиралась) смеет судить о мировом светиле, по примеру Романа избрала силовой вариант прорыва на объект, и ринулась вперёд. Но прапор, бывший спортсмен обладал отменной реакцией. Подобно тигру он прыгнул за ней и, обхватив рукой её тощую талию, понёс, как большую куклу назад. Журналистка билась в железном обруче руки, дрыгала ногами и визжала так пронзительно, что её визг слышали все, в том числе и человек в белом халате, руководивший раскопками.

Это был никто иной как однокурсник Романа по техникуму Генка Шильман. Когда-то они были большими друзьями. Генка после техникума подался по медицинской части и, как слышал Роман, работал в бюро судебно – медицинской экспертизы при городском морге.

– Привет, Романсьеро, – обратившись по – техникумовски, Шильман с улыбкой похлопал друга по плечу. – Давно не виделись. Что тут у вас? Крик, шум какой-то.

Роман объяснил, в чём дело.

– Захарченко, что Вы дурака валяете. – И не слушая оправдывающегося верзилу, сказал Роману, – конечно, бери, что нужно. Только не задерживайся. – А вас, – Шильман обратился к девушке, – я, к сожалению, пропустить не могу, получите пропуск в управлении, и тогда – милости прошу. Не обижайтесь, объект закрытый.

– Я буду жаловаться, что вы не даёте работать.

– Это ваше право. Роман, проходи.

Когда Роман шёл по КПП, девушка в приотворившуюся дверь, пыталась, вытягивая шею и вставая на цыпочки, хоть что-то рассмотреть.

На месте раскопа работало с лопатами человек десять солдат. Они не копали землю, а подрезали её, укладывая земляные лепёшки аккуратным ровиком на краю раскопа. Невдалеке от широкой, прямоугольной траншеи на расстеленном брезенте лежало несколько черепов и человеческих костей.

– Гена, – обратился Роман к подошедшему другу.



– Ни звука, – сухо, но громко отрезал Шильман и прошептал, – В бюро, недели через три.

Уезжая, томимый любопытством, Роман спросил прапора о петлицах.

– Что у вас за род войск?

– Из КГБ мы, – нарочито небрежно ответил тот.

– А я думал, милиция этим делом занимается.

– Давай, проходи, без тебя дел много.

Роман присвистнул.

Девушка, в отличие от Романа приехавшая на легковушке, пригласила его в машину и всю дорогу выпрашивала его о том, что он видел за забором. Он нечаянно проговорился, что вчера ему привалило счастье или несчастье обнаружить захоронение.

– О, это информация из первых рук. Я теперь, Роман, с тебя не слезу. Ну-ка, рассказывай всё в подробностях. Познакомимся – Виттория, можно просто – Вита.

«Вот так убежал от расспросов», – подумал Роман, невесело улыбнувшись и начиная, верно, в сотый раз осточертевший ему рассказ.

Из треста новость о могиле разнеслась по городу. Разговоры и слухи выплеснулись на газетные страницы. Избавившись от цензуры, требовавшей публиковать только проверенные факты, газетчики пустились во все тяжкие, а редакторы, гнавшиеся за увеличением тиражей, потворствовали им в этом.

Ажиотаж слухов, догадок и разных фантазий, которым позавидовали бы матёрые антисоветчики вроде Конквеста, Солженицына с братьями Медведевыми и Волкогоновым в придачу, выплеснулся и забушевал на страницах областных газет, от официозного, прежде чуждавшегося сплетен и низкопробной писанины «Трудового севера», до развратной, желтой «Клубнички», которую не то, что читать, в руки брать было мерзко.

Выходило, что под Городом существовал особо секретный, о котором не знало даже руководство области, лагерь личных врагов Сталина, и в 42-м году, когда дела на фронте обстоя-



ли хуже, чем под Москвой, и тиран разразился истерическим приказом № 227 «Ни шагу назад!», из Москвы прибыла особая команда расстрельщиков из НКВД, и все заключённые и вся охрана были расстреляны. Их и откопали. Потом писали, что личных врагов столько не было, а были просто враги народа и их расстреляли. Потом говорили, что сюда привезли пленных из Катыни, четвертые под большим секретом, что здесь расстреляны все японцы, взятые в плен под Халхин – Голом. Так же орудовали и с численностью расстрелянных. По примеру Гулаговского Гомера, для которого миллион советских людей туда, миллион сюда были привычным делом, большинство публикаций оперировало тысячами, самый скромный а, возможно, жалостливый журналист отправил на тот свет 150 человек.

Был помещён душераздирающий рассказ одной старушки, как её дедушке (разумеется, ныне покойному) загоняли иголки под ногти.

В публикациях чувствовалась даже какая-то радость, что и у нас в Тиховодске, наконец-то нашли что-то такое.

V

На улице более семидесяти лет носившей имя первого председателя Петроградского ЧК, Урицкого, возвышается пятиэтажное здание, в былые годы внушавшее прохожим если не страх, то трепет, почти мистический. Гораздо больший, чем перед милицией. Вопреки конституции, утверждавшей, что все люди равны и свободны, чувство трепета у советских людей было. Было, и отрицать это нелепо, даже людям, любящим Советскую власть. Возможно, не так уж неправ был человек, высказавший, быть может, тоталитарную мысль, что любой человек должен испытывать некую священную дрожь перед государством, иначе никакого толка не будет.

Вообще, в Тиховодске были ещё улицы Дзержинского и Менжинского. Если первым трём наркомам внутренних дел



повезло и их имена сияли на карте города, то трём последующим (Ягоде, Ежову и Лаврентию Палычу) судьба отказала в посмертной славе.

На втором этаже упомянутого здания вечером этого же дня перед генералом, руководителем этого областного ведомства сидели дежурный по КПП и судебно- медицинский эксперт.

– Каковы первые впечатления, итоги? У Вас, Геннадий Аркадьевич?

– Об итогах, товарищ генерал, – заметно волнуясь, докладывал Шильман, – пока говорить рано. Идентифицировать никого не удалось, одежда и обувь не сохранились. Поражает сохранность зубов, они, как на подбор чистые, белые, здоровые. Кариес в те годы был редкостью, во рту нашли золотой перстень. Потом я представлю подробный, детальный акт...

– Да вы не волнуйтесь, – сказал генерал, мужчина на шестом десятке лет с открытым русским лицом. – Товарищ прапорщик, а у Вас без происшествий, ничего необычного не произошло?

– Никак нет, товарищ генерал, за исключением тележурналистки. Такая девка настырная. Порывалась снять

– Звонили мне уже, – вздохнув, сказал генерал. – Завтра придётся её допустить. Сверху звонили. Пусть всё осмотрит, но на камеру снимать безусловно запрещаю.

– Так ведь она наврёт с бочку арестантов. У журналистов этих ни стыда, ни совести нет. В позапрошлом году рядом с домом шёл мальчик, сосулька оборвалась и ему прямо в голову. Бедного ребёнка наповал. А эти, простите товарищ генерал, трупоеды, другого слова нет, тут как тут, мальчика увезли на «скорой», так они сняли кровь на тротуаре. У матери сын единственный, она с горя места себе не находит, а его кровь показывают.

– Что делать, гласность. – перебил не по чину словоохотливого прапора генерал. – Надо быть доступней для людей. А то служим для государства, а государство, это люди. Ты, товарищ прапорщик, помягче завтра с ней. Помягче, покультурней, но... сам понимаешь, – генерал улыбнулся.



Секретарша принесла на подносе три стакана чая, блюдо с бутербродами и блюдо сушек с маком.

– Но какие-то первые наблюдения, Геннадий Аркадьевич, есть? Удалось установить хотя бы примерно возраст трупов, останков. Вы понимаете, я имею в виду не сколько лет было убитым, а сколько времени они пробыли в земле.

– Более семидесяти лет, – сказал Шильман.

– Да-а, – не смог скрыть изумился генерал, – У нас на дворе девяностой первый год, август, я полагал, где-то в районе пятидесяти лет с небольшим. А то семьдесят.

– Более точно, плюс – минус пять лет, можно установить в лабораторных условиях. А в поле какое уточнение?

– Не ошибаетесь?

– Видите, товарищ генерал, – осмелев, потому что говорил о предмете близком ему, объяснял Шильман, – процесс старения костей, не позволяет установить точный год смерти, всё-таки погодные условия, климат у нас знаете какой, морозы, дожди. В пустынях Египта, Палестины в сухом климате кости сохраняются дольше. Но разница в десятилетия заметна специалисту.

Генерал задумчиво потёр подбородок.

– Это получаются годы гражданской войны.

– Примерно, этот период.

– Сколько поднято трупов?

– Восемнадцать.

– Сколько можно ожидать ещё?

– Границы могилы установлены. Она не велика. Большого количества трупов не ожидается. Десяток – другой, не больше.

– Геннадий Аркадьевич, завтра проведите инструментальное обследование. Нет ли других могил. Всё, спасибо, товарищи. Можете быть свободны.

Когда прапорщик и Шильман вышли, генерал вызвал к себе Животова.

– Моё предчувствие меня не обмануло.

«Неужели ты будешь нуждаться в секунданте», – с лёгкой улыбкой подумал Владимир Степанович, потому что ге-



нерал невольно повторил реплику князя Елецкого из «Пиковой дамы».

– Что смешного?

– Виноват. Воспоминание юности.

– Владимир Степанович, я не случайно изъясил это дело из ведения милиции. Вспомнилось мне, как бывший начальник на очередной Октябрьской годовщине, опять похвалялся тем, что у нас имеется телеграмма, в девятнадцатом году лично посланная Феликсом Эдмундовичем, и с трибуны показывал какую-то бумажку, потрясая ею в воздухе. Но что за бумажка, что за телеграмма ближе рассмотреть не дал. Потом уже после торжественного я спросил у него. Он сказал, что телеграмма касалась расстрела группы опасных контрреволюционеров и в ней фигурировала цифра тридцать с чем-то человек. Не их ли мы нашли? Чтобы легче ориентироваться и вообще прояснить этот вопрос, позанимайся в нашем архиве. Думаю, времени у тебя это много не займёт, документов той поры осталось немного. Ты знаешь, как старый чекист, что в те годы не каждое дело документами оформлялось.

Зазвонил внутренний телефон. Генерал снял трубку.

– Я могу идти? – спросил Животов.

– Погодь, – прикрыв трубку ладонью, сказал генерал. Останься, – он положил трубку. – Дежурный звонит, корреспондентка просится на приём. До руководства области достучалась. Познакомься.

– Свобода слова, будь она не ладна, – сердито проронил Животов. – Какая-то журналистка лезет к людям, занятым делом, и, будь любезен, принимай её.

– Не говори лучше. Горбачёв юлит перед Западом, а ничего ведь не добьётся, наобещают золотые горы и обведут вокруг пальца. Свобода слова, свобода слова, гласность. На секретных заводах полно постороннего люда, которого на пушечный выстрел нельзя туда подпускать. Раньше мы их выявляли, арестовывали, а сегодня им – зелёная улица. Куда катится страна?



По неопытности житейской и журналистскому легкомыслию, полагавшая, что слово главы администрации – это всё, Вита буквально ворвалась в кабинет генерала.

– Вот мои документы, – выпалила она, выкладывая на стол генерала журналистское удостоверение. – Обнаружена могила с трупами, мне срочно нужно посмотреть и сделать репортаж.

– Девушка, помилуйте, – привстав за столом и, переглянувшись с Животовым, сказал генерал. – Возможно в редакции вашей газеты так принято вести себя, а у нас иначе. У нас принято прежде всего здороваться. Замечу также, что перед вами два человека, которые вам в отцы годятся. Если вы не питаете уважения к тому месту, где вы находитесь, а у интеллигентов неуважение к чекистам родовая черта, то уважайте хотя бы наш возраст. Итак, что у вас?

Виттория не пристыжённая, но, пригасив пыл, объяснила, что ей нужно.

– Ясно, понятно, – повторял генерал. – Разрешение осмотреть место находки мы вам дадим, но разрешить съёмку не можем...

– Почему, на каком основании...

– Минутку терпения, не горячитесь. По факту обнаружения захоронения возбуждено уголовное дело, а вещественные доказательства до суда не подлежат оглашению.

– Я буду жаловаться главе администрации.

– Простите, хоть самому Горбачёву. Расследование уголовного дела ведётся согласно правовым актам, стать выше которых не властен никто. Если угодно, я могу оформить отказ на съёмку письменно.

Вита пыталась добиться разрешения снять хотя бы общий план, но и в этом ей отказали.

– Я должен так же вам сказать, что, по всей видимости, эти люди погибли до так называемой сталинской эпохи в истории нашего государства. Запомните это, когда будете писать в газету.

Вита ничего не ответила, взяла удостоверение и вышла.

– Ишь чего захотела, допусти её, покажи ей всё, а она насочиняет с три короба. Мы стоим не только на страже госу-



дарственных секретов, но и на страже облика, или как сейчас выражаются, имиджа страны.

– Она всё равно наврёт, – сказал Животов.

– Ты думаешь?

– Конечно. Посмотрели бы вы, товарищ генерал, на её, про-
сти господи, рожу, от ненависти к нам её всю извело.

VI

Владимир Ширков принадлежал к породе тех людей, точное название которым дала советская эпоха. В словаре Даля таких слов нет. Ударник, передовик. Это была та идеальная советская натура, которая с детства принимала всей душой то, что слышала. Нужно хорошо учиться, много читать, чтобы быть полезным Родине. В школе он был членом совета отряда, школьной пионерской дружины, занимался спортом, ревностно трудился на субботниках, выступал на собраниях.

По окончании школы его пригласили на работу в областной комитет комсомола, в оборонный сектор, который занимался организацией слётов, физкультурных праздников. Он участвовал в походах по местам трудовой и боевой славы, штурмовал вместе с детьми «вражеские» позиции в «Зарнице». Как о перспективном партийном работнике, о нём докладывали первому секретарю обкома партии. Тот познакомился с Ширковым и привлёк его к почётной, о которой следовало помалкивать, работе – готовить выступления, речи первому секретарю.

Из сектора оборонной работы его перевели в отдел агитации и пропаганды обкома партии.

Бывая по долгу службы на партийных мероприятиях, особенно на их заключительных стадиях, он видел неприглядные сцены, слышал разговоры, от которых его пионерско-комсомольский идеализм год от года слабел, угасал.

Надо было уходить из обкома, чтобы окончательно не потерять веры в жизнь. В обкоме говорили об уме, чести и совести, но сами были далеки от провозглашаемых истин.



Он понимал, что реальная жизнь далека от представлений о жизни, но должно же сохраняться в ней что-то возвышающее человека.

Особенно его раздражало открытое пренебрежение народом. Сын рабочего – кузнеца на вагоноремонтном заводе, сам знакомый с кувалдой и кузнечным зубилом, Ширков начисто был лишён повадки, метко называющейся в народе «из грязи да в князи». Он не забывал, что он и сам рабочий, и гордыни в том, что он служит не где-нибудь, а в обкоме, не было в его душе. И когда ему предложили место редактора местной молодёжной газеты, он согласился. Там работа с живыми людьми, а не с бумажками. Отец сетовал на его ошибочный шаг, за обком нужно держаться обеими руками, это завидная работа.

Он сказал отцу:

– Знаешь, как в «Горе от ума» – чин следовал ему, он службу вдруг оставил.

– Смотри, как бы с умом горя не схватить, – проворчал отец.

Володя обнял за плечи старого ворчуна, поцеловал в крупных морщинах щёку.

Отец Ширкова был делегатом XIX съезда и видел самого Сталина. С последних рядов зала, откуда Вождь был виден как на почтовой открытке, но он его видел. Отца приглашали на все торжественные заседания, проводившиеся по традиции в зале областного театра: на 23 февраля, 8 марта, 9 мая и т.п.

Работа редактором у Ширкова пошла, он открыл новые рубрики, связанные с историей города, с именами прославленных земляков, требовал от корреспондентов писать ярче, смелее. Тираж газеты рос за счёт проблемных статей, задевавших людей за живое.

После одной такой статьи, поднимавшей молодёжные вопросы в наше время, и вызвавшей бурный интерес у читателей (пришла не одна сотня откликов, явление не бывалое) Ширкова вызвал к себе первый секретарь.

– Интересной стала газета, сказал он, – боевой, горячей. Молодец. Но иногда ты забираешь крутовато, читатель наш к этому не привык. Смотри, не переборщи.



– Анатолий Семёнович, – отвечал Ширков, – разве я что-то сделал на вред народу, государству? Ленин писал, что газета должна быть коллективным организатором, но людей на добро нужно организовать. Враги наши хотят организовать народ на зло, а мы на добро.

Первый секретарь, фронтовик, командир дивизии одобрительно слушал Ширкова. После этого разговора первый секретарь будто бы сказал, что Ширкова надо двигать дальше, не сидеть же ему до пенсии на комсомольской газете.

Но куда он хотел двинуть Ширкова, осталось тайной, потому что Горбачёв стал создавать себе опору в областях. Секретарей, чья юность пришлась на годы правления Сталина, он отправлял на пенсию. Благодетель Ширкова был отстранён от власти, а у пришедшего ему на смену были другие взгляды на кадровую политику.

VII

Архив был самым тихим местом в управлении. Рядовые сотрудники тут не появлялись, руководящим работникам необходимые справки готовила заведующая, а посторонние лица (или как говорили о них, штатские, хотя большинство сотрудников сами военную форму надевали по праздникам) сюда вообще не допускались. Когда наступила перестройка, здесь мелькнул однажды священник, которому открыли дела по расстрелянным священнослужителям. Зрелище было невиданное, впервые за многие годы священник приходил в рясе, с золотым крестом на груди. Старожилы шутили: «И без конвоя». Побывали в архиве ещё какие-то три-четыре историка из местного педагогического университета, и всё приняло обычный порядок. Про архив шутили, что дольше на службе спят только пожарники.

Заведующая архивом худенькая, седенькая, никогда не улыбавшаяся старая дева, прочитала отношение, подписанное начальником, внешне бесстрастно, но бровки её, выдавая



волнение, на мгновение взыграли. Затем согласно инструкции она проверила документы Владимира Степановича, удостоверившись в его личности, хотя знала его около двух десятков лет, для верности позвонила начальнику и принесла тоненькую папочку с сургучной печатью.

Животов впервые работал в архиве и, как человек равнодушный, испытал то редкостное, волнующее чувство, которое иногда испытывают исследователи, прикасающиеся к подлинным документам. Не к ксерокопиям, не к книжным публикациям, а именно к документам, когда и бумага, и чернила соответствуют времени создания документа. Животов пережил упоительное чувство исчезновения времени. Былая жизнь, ушедшая, отзвучавшая, вдруг пахнула на него. Он не мог вспомнить ничего конкретного, ничьего лица, ничьего голоса, но сердце обнялось чем-то трепетным, давним и, как ни удивительно, живым. Прошедшая жизнь не умерла, она стояла рядом за непрозрачной стеклянной загородкой. Чудилось, напряги волю, воображение, и ты услышишь голоса...

Искомый документ находился в середине папки. На тонкой, папиросной бумаге шли группы цифр. Ниже расшифровка, ещё по старой орфографии с ятями и «и» десятиричной.

«По получении шифрограммы расстрелять следующих лиц (следовал перечень фамилий). О выполнении сообщить. Письменное подтверждение фельдсвязью. Председатель ВЧК Дзержинский». На листке служебные пометки, время отправления и время получения, личные номера шифровальщика и дешифровщика, чьи-то подписи чернилами.

Следующий документ – письмо на машинке. Внизу выцветшими чернилами подпись: Ф. Дзержинский.

В совершенно секретном письме сообщалось, что по агентурным сведениям в городе намечался мятеж, подобный Ярославскому. Председатель ВЧК благодарил чекистов за революционную бдительность, своевременно произведённые аресты. В письме указывались имена – отчества осуждённых к расстрелу и годы рождения. Среди них пять человек 17–18 лет.



В третьем документе говорилось, что в дополнение к лицам, указанным в шифровке и письме, председатель ВЧК приказывал расстрелять ещё пятерых (опять фамилии). Шифровка обозначена этим же днём, то есть, послана вдогонку.

Прочитав документы, Животов испытал противоречивые чувства. С одной стороны, как говорят французы: на войне как на войне (*a la guerre comme a la guerre*). С другой стороны, именно сейчас вспомнился эпизод из жизни самого Дзержинского, приговорённого к смертной казни и помилованного. Зачем такая спешка? Что мешало рассмотреть дело как положено, по закону. Военных действий в городе не было. Бои шли где-то в окрестностях Яренска, это в почти в тысяче километрах от Тиховодска. Ничто не угрожало городу. А вдруг кого-то арестовали ошибочно? Может, кто-то остался бы жив. Может быть, это была перестраховка, расстрелять на всякий случай, как бы чего не вышло. А ведь в городе не спали ночами, ждали их участи матери, жены, сёстры, отцы.

И вдруг – бац! – телеграмма, приговор, конец надеждам, мечтам о будущей жизни. Всё отсечено, как топором гильотины.

В телеграмме таилась скрытая, не высказанная подоплёка совершённого. Что это за преступники, для расстрела которых понадобилось письмо Дзержинского? Неужели это были люди, угрожавшие всей республике Советов?

Ответа быть не могло. Перед ним лежали три листка старой бумаги. И всё. Они приоткрывали узенькую щёлочку в прошлое. Они же завешивали эту щёлочку непроницаемой завесой.

Докладывая генералу о проделанной работе, Животов был угрюмо молчалив.

– Что такое, Владимир Степанович? – спросил генерал.

– Да вот, товарищ генерал...

– Да, полно, полно, по чинам. Мы же знаем друг друга много лет. Признаться, я не ожидал, что это так тронет тебя. Ты ведь полковник, откуда в тебе сентиментальность? Столько лет прошло, гражданская, коллективизация, война, смерть Сталина, ядерная гонка, которую, кстати сказать, не мы нача-



ли. Все, как говорится по-русски, было и быльём поросло. Всё это в прошлом.

Генерал остановился у бюста Дзержинского на сейфе.

– Насчёт холодного ума и горячего сердца у Дзержинского всё в порядке, – сказал Животов, видя как генерал обласкивает взглядом скульптуру, – а в чистоте рук что-то стал сомневаться.

– Не ожидал, Владимир Степанович, не ожидал.

– Чего?

– Жалости к врагам. Мягкотелости. Ты не кисейная барышня, у тебя за плечами не одна операция, ты сумел вычислить и взять врага на металлургическом комбинате. Получил за это орден. Юрий Александрович Андропов тебя лично благодарил. И вдруг.

– Но то, Василий Фёдорович был явный, настоящий враг. А здесь русские люди. Людей расстреляли, а среди них могли быть пусть не друзья наши, но работники, солдаты, сыновья Родины. Демографы говорят о не рождённых поколениях. От них могли родиться дети, а их убили.

– И всё-таки Феликс Эдмундович всё делал правильно, – генерал дал понять, что дальше обсуждать эту тему не намерен, и положил ладонь на голову бюста. – Мы с тобой, Владимир Степаныч, солдаты, солдаты партии, а солдат должен выполнять приказ.

– Но ещё Суворов говорил: каждый солдат должен понимать свой манёвр. А нашего полководца – Горбачёва, понимать становится всё трудней.

– Всё устроится, образуется. Партия выходила не из таких переделок.

– Мы открываемся, хотим сотрудничать, а нас травят.

– Ещё раз благодарю за быстрое и точное исполнение поручения, – подвёл итог разговора генерал.

Животов и генерал вместе учились в академии. Животов учился успешнее сотоварища, и генералом должен бы был стать он, но как шутили академические острословы, браки заключаются на небесах, и генералами становятся там же.



Уже в дверях Животов спросил:

– Товарищ генерал, – он знал, что это обращение лучше помогает в решении щекотливых вопросов, – в конце архивного дела есть упоминание о приложении к нему. Что это, не знаете?

– Какие-то грампластинки. Ты же знаешь, где размещалась ЧК в те годы.

– Можно послушать?

– Да забери их совсем, давно пора от них избавиться, только пыль собирают. Фокстроты какие-нибудь. Забери, забери.

И генерал на бланке написал распоряжение.

Заведующая архивом аж побелела, ознакомившись с распоряжением, позвонила генералу, побежала к нему. Вернулась скоро, раскрасневшаяся, нервически приговаривавшая:

– Я ему этого так не оставлю. Он меня помнить будет. Так разговаривать с заслуженным работником. Ну, он у меня..

В этот момент она вспомнила, где служит, что слова её могут стать известными генералу в **такой** редакции, и вежливо выдала Животову увесистый конверт из тонкого коричневого картона. Когда он расписывался в книге учёта секретной документации, она не вытерпела и пробормотала:

– Вопиющее, неслыханное нарушение...

VIII

Роман отвёл Сашу в сад и в половине восьмого стоял на остановке служебного автобуса, отвозившего бригады рабочих в село Валерьевское, где строился большой откормочный комплекс.

Пожав руки бригадиру Саше Думенкову, зам. бригадира Родину, старожилам бригады Толе Шабанову, Валере Полетаеву, (все они были старше его), Роман сел у окна и смотрел, как мелькают за окном дома, а красный цвет светофора сменяется зелёным.



Оставив позади цеха льнокомбината, огромные квадратные телевизионные антенны у телемачты, автобус вырвался из городских улиц на шоссе и прибавил ходу. На горе раскинулось село Огарково (в бригадном фольклоре – Окурково). С горы открывался чудный и волнующий вид на родной город: в громадной природной котловине неисчислимое множество деревянных и каменных домов, кресты церквей, зелёные ковры парков и скверов, семидесятиметровая златоглавая свеча колокольни Успенского собора, белёсый утренний туман и полотнища дымов из труб подшипникового завода.

Но вот поворот в сторону Валерьевского, ещё немного и широкая панорама строительства открылась пред ним. Ряды ещё не застеклённых коровников, строящаяся котельная, сенажные траншеи.

Как-то в перекур на траншее Толя Шабанов сказал:

– А чем они этакую прорву скота кормить-то будут? Их тут собираются десять тысяч голов держать, им же каждый день жрать надо.

Слова Толи поразили Романа. Это простое житейское соображение как-то не приходило ему в голову. Его послали на объект и он работал на нём, не вдаваясь в подробности. А в самом деле, каждый день такое стадо не будешь выпускать пастись, они же всю округу обглодают, как когда-то кролики Австралию.

Он спросил об этом Мигунова. Тот посмотрел на него, как на умственно недоразвитого и сказал:

– Охота тебе о ерунде думать. Ты же не в животноводческом тресте работаешь, а в строительном. Не думай о всякой всячине. Там, – он показал в сторону города, – сидят люди с большими головами, им положено думать.

На площадке, где остановился автобус, широкой буквой «П» расставлены вагончики бригад. Рабочие заходили в вагончики и через пять – шесть минут, вскинув на плечи лопаты, взяв ящики с плотницким инструментом, шли на рабочие места.

В центре площадки возвышался флагшток. Флаг на нём никогда не поднимался, а недели две назад на него повесили



громкоговоритель (в фольклоре – матюгальник) и теперь не было уголка, куда не доносились песни какая свадьба без баяна... и с полей (в фольклоре – доносится: налей)... соловей российский славный птах...

Пришли первые машины с раствором и бетоном, бригада Думенкова продолжила работы по прокладке водопровода к коровникам, застучали молотки и топоры, звено Димы Малесова сколачивало опалубку для устройства водовода.

Мужики из Стаљконструкции (фольклорный вариант – Стаљколяска) монтировали автокраном фермы, над коробками коровников вспыхивали ослепительные солнца сварки.

Трубоклад Володя Беяев завершал двадцатый метр трубы у котельной, здесь работала лебёдка, поднимавшая на верхотуру кирпич и известковый раствор. Подсобник Беяева молодой мужик под тридцать лет, выкладывал кирпич под руку Беяеву, чтобы сподручней его брат, лопатой накладывал на версту раствор.

Строительная площадка, ещё недавно как будто заснувшая, наполнилась жизнью, всюду работали люди, работали моторы машин, урчал трактор, ревел компрессор, по дороге ездил взад и вперёд, ровняя её, грейдер. Сердце любого трудолюбивого человека могло только радоваться этой картине общего созидательного труда.

Изредка то там, то сям работа замирала на какое-то время, взвивались дымки, слышались разговоры, смех.

И продолжалась прерванная работа

Песни смолкли в громкоговорителе, бригады потянулись на обед.

Бригадир Дымов вполголоса жаловался старшему прорабу Соколову.

– Лёва, ну что ты хочешь, делай что-нибудь с Толей Скупиновым. Вся бригада недовольна. Все работают, вдруг он усядется на бровке и ладно бы, сидел да курил, стерпели, а он начнёт лекции читать: о космосе, о кораблях, которые плывут по морю быстрее машин. Люди заняты делом, работают, а тут сидит звездобол, только на нервы действует.



– Саша, – уже который раз увещевал бригадира старший прораб.- Он человек больной, ты знаешь.

– Больной, так пусть в дурдоме сидит, коробки клеит, а не мозги... нормальным людям.

– У нас государство гуманное. В дни обострения его увозят в больницу, а в остальное время держать его там нет никаких оснований. Терпите.

– Переведи тогда его от нас. Дай отдохнуть.

– Хорошо, неделю пусть доработает. А на той неделю попрошу в тресте, чтобы оставили его в городе.

Несчастный Толя, не зная, что его отправят в город (а ему здесь, на природе очень нравилось), весело шёл к вагончику, сообщая рабочим, которые отмахивались от него, как от надоевшей мухи, сколько тысяч километров до солнца, во сколько раз Земля тяжелее Луны. Голова Коли – кладёзь знаний, которым он по болезни своей не мог дать никакого применения. И, желая доказать окружающим, а больше самому себе, что он здоров, и вообще умнее многих его окружающих людей, он непрестанно говорит, сыплет не к месту сотнями разных цифр, дат, имён и фамилий.

В вагончиках все достают из сумок, сеток обед: сваренный женой суп, щи или борщ, разогревают на печках – пьют чай и садятся играть в домино или (если мастера нет в вагончике) в карты, в подкидного или в секу на деньги.

Но сегодня в бригаде Думенкова обед не задался. Только раздали кости домино, только раздались первые удары ими по столу (а костями лупят, будто забивают гвозди), как у флаштока остановилась белая, блестящая никелированными деталями «Волга», из которой вышел управляющий трестом, парторг. Старший прораб семенит к ним, здоровается за руку и бежит сломя голову в вагончик.

– Выходим все, – суетливо командует он, – живо. Докурите на улице, всё равно обеда осталось пятнадцать минут.

Дело, по которому трестовское начальство приехало на стройку было чрезвычайным, экстраординарным, из ряда вон выходящим, так его характеризовал первый секретарь обкома.



Впервые в истории треста да, пожалуй, и всей областной партийной организации, член партии написал заявление о выходе из партии.

Все рабочие вышли из вагончика, остался чеканщик стыков водопроводных труб Костя Сухов. В армии он был старшим сержантом, командиром отличного миномётного расчёта. Однажды его вызвали в штаб батальона и замполит, офицер, уважаемый и любимый солдатами, сказал, что он должен вступить в партию. Как дисциплинированный солдат, Сухов принял слова замполита, как приказ и подчинился ему. Это произошло лет тридцать назад. Но в последние годы он вдруг понял бессмысленность своего нахождения в партии. И дело не в том, что он ничего не имел от партии, и как подшучивали над ним мужики в вагончике, чем платить взносы, лучше лишнюю бутылку купить. Выпивкой он не увлекался, но почему-то ему стало неинтересно и не нужно отбывать время на партсобраниях, слушать слова совершенно неинтересных ему людей. Можно не платить взносы и выйти из партии автоматически, но он предпочёл не тянуть волюнку, при том объяснений так и так не избежать, и написал заявление. Не мог же он сказать, что ему противно быть в партии, в одной компании с Горбачёвым, который всё, что ни говорит, врёт.

Управляющий трестом и парторг упрасивали Сухова, просили подождать до пенсии.

– Это значит, ещё 10 лет ждать, – сказал Костя и отвернулся к окну, не сказав ни «да», ни «нет».

Ему напоминали ленинский призыв, приём коммунистов на фронте. Но эти примеры не работали, они были стары, изжиты, нужны были иные примеры, а о них никто не думал и не знал. Думали, что сейчас всё хорошо, так и будет всегда. Партия утратила нить жизни, связи с нею. Когда-то вступить в партию было почётно, за неё отдавали жизнь, с её именем шли в бой, а сейчас без малейшего сожаления уходили из неё.

В оставшееся до конца обеда время Роман вышел на опушку леса. Комплекс строился на участке, расчищенном от леса.



На опушке было его излюбленное место, он часто любил приходить сюда, садиться на поваленный ствол берёзы. Ему нравилось быть одному, вдали от людей, от работающих машин. За спиной шумел лес. Покачивающимися на ветру деревьями, ветвями берёз, осин, рябин, устремленных к небу елей. Вблизи от берёзы округлой шапкой, присыпанной прошлогодней хвоей, горбился муравейник. Роману было хорошо среди этого шума, было хорошо следить за неустанной, суетливой муравьиной жизнью, хорошо было думать ветровые думы. Впереди его спускался вниз крутой склон холма, на котором в июне и июле было видимо-невидимо земляники, он как-то набрал для Саши почти литровую банку ягод. С вершины холма перед ним расстилались, уходя вдаль, к синющему горизонту бескрайние ступенчатые дали, у самого горизонта, в солнечный день где-то у самой границы, где небо соединялось с землёй, крохотным пятнышком белела церковь, а внизу холма временами по серебристым ниточкам рельс зелёной ящерицей беззвучно скользил пассажирский поезд.

Из глубины леса наносило знойным и пряным запахом травы, крапивы и кипрея, к запаху примешивался томный, вялый аромат пошедших после недавних обильных дождей грибов, среди цветущих бледно-сиреневых ирисов, багряной луговой гвоздички и метёлок богородичных слёзок не хотелось ни думать, ни вспоминать о повседневной бытовой жизни. Но жизнь напоминала о себе, лезла непрошено в сказку природы, мешала ему слушать ветер и думать с ним. Ночью ему приснился уныло наклонивший свою стрелу загрустивший экскаватор, и раскачивающийся ковш. Из ковша падали не гладкие, голые черепа, а человеческие головы, что-то говорящие ему, чего он не в состоянии был понять. И не струйки земли сыпались и лились из него, а текла густая, липкая, тягучая, кричащая о муках и страданиях кровь.

Радио на флагштоке пикнуло один раз. Час. Конец обеда.

Роман вскочил с берёзового ствола и побежал на стройку.

Управляющий трестом и парторг ничего не добились от Кости Сухова.



Выпросив пластинки у начальника, Животов не знал, что с ними делать. «Вот барахольщик, – в сердцах поругивал он себя, – позарился на дармовщинку. А как же ты будешь эти фокстроты слушать? Они наверняка записаны на скорости 78 оборотов, а у тебя и проигрывателя такого нет. Нужен патефон, но где сейчас сыщешь такое старьё?»

После долгих раздумий, в числе которых самое разумное было: снести пластинки назад и пусть лежат они, как лежали, он позвонил Внукову.

Услышав его вопрос Внуков, расхохотался громким, захлебистым смехом, каким умел смеяться только он.

– А ещё считаешь меня своим другом, – шутиливо выговаривал ему Внуков. – Ты что забыл, что к шестидесятилетию областная организация ветеранов подарила мне кабинетный трофейный патефон. Такой, как в книге о Томасе Манне. Я согрешил с ним: такая бандура, корпус из красного дерева, по бокам свастики из нержавеющей стали, которые никак не отломать. Загромоздил он всю комнату, выбросить жалко да и стыдно, подарок всё ж. Дуй ко мне. Послушаем твоих, как ты говоришь, шансонеток.

Через пять минут с пластинками в хозяйственной сумке Животов шагнул по двору. В гости к дяде Вите, как он называл Внукова, напросился внук Животова Петя. Умный, начитанный паренек пятнадцати лет, знавший превосходно литературу девятнадцатого века, как отечественную, так и зарубежную, а также русскую историю. Об Александре Невском, Дмитрии Донском и о том, как Кутузов пришёл бить французов, он с интонациями профессионального лектора рассуждал ещё во втором классе.

Дверь им открыла Анна Григорьевна.

Обняла и, встав на цыпочки, поцеловала в голову любимого ею Петю.

– Петюшка, золото моё, пришёл. Вырос-то, не дотянешься, гренадёр настоящий.



– Гренадер, – вполголоса буркнул Петя. – Из Франции два гренадера, стихотворение Гейне в переводе Михайлова.

– Ну, прости, прости меня, старую. Гренадер. Всё-то ты у нас знаешь. Редко заглядываешь к старикам Вите да Ане? – говорила она, подавая ему тапки и не сводя с него ласкового взгляда. – Не иначе подружку, зазнобу себе завёл. А, дед? Что скажешь? Ты ж его лучший друг. У нынешней молодёжи это быстро.

Петя, покраснев, отговаривался, что никого у него нет.

– А, дед? – настаивала Анна Григорьевна.

– Кто к нам пришёл? – в прихожей, распахнув руки, появился Внуков. – Пётр Алексеевич, собственной персоной, божией милостию царь и великий князь Шограшский, Сухонский, Двинский, Беломорский и прочая, прочая, прочая. Ну, проходите, проходите, дорогие мои. Аня, спроворь-ка чайку.

Пока Анна Григорьевна заваривала и разливала чай, Внуков снял шёлковый чехол, укрывавший патефон. Это был куб с метровыми сторонами. Человек, даже не сведущий в вопросах антиквариата, мог с уверенностью утверждать, что это старая, очень дорогая и, главное, качественная вещь.

Все молча осматривали патефон.

Викторин Андреевич нажал сбоку кнопку, поднялась тяжёлая крышка. Внутри патефон выглядел ещё роскошнее: никель, тиснёная кожа, художественно оформленный рычажок регулятора звука. Вещь делали со вкусом, с любовью к деталям.

– Вот гады – немцы, – с восхищением, в котором слышалась и зависть, проронил Животов, – Умели же делать.

– А где свастики? – спросил Петя.

– Я их ликвидировал, – сказал Внуков, – будут они мне своим видом комнату поганить. Я их в войну насмотрелся.

Свастики закрывали два наклеенных на них изображения Сталина: репродукция известной картины С. Герасимова «Сталин на трибуне» и цветная фотография Д. Бальтерманца из «Огонька», где Вождь запечатлён в гробу.

Анна Григорьевна принесла чайник, чашки и всё необходимое для чаепития: сушки, сухари, печенье.



– Бьюсь об заклад, что дореволюционные певички визжат то же самое, что нынешние, вроде:

Мари не может стряпать и стирать,

Зато умеет петь и танцевать, – напел Викторин Андреевич и сказал – А теперь фокус.

Он запустил пластинку.

– Ставь, – предложил он Внукову.

Владимир Степанович опустил иголку на край диска, она тут же соскользнула за его край.

То же было и на второй, на третий раз. Как ни бился Животов, ничего не получалось.

– Ну-с, полковник, – не без иронии обратился к нему Внуков. – Как объяснишь сей феномен? Ты среди нас самый умный, а мы люди простые, как Василий Иванович говорил, академиев не кончали. Ясно, что тут что-то записано. Но что?

– Похоже, здесь конец пластинки, – раздумчиво произнёс Животов. – Что если начало не с краю, как у нас, а в середине?

– Молодец, быстро догадался, – похвалил Внуков друга. – Не зря вас в академиях учат, быстро сообразил, а я день бился.

– Ну, вперёд.

Владимир Степанович, запустив пластинку, поставил иголку почти в самый её центр, где начинались звуковые дорожки. Иголка зашипела, но вместо ожидаемой, игривой, весёленькой музычки тишину кабинета Внукова распорол нечеловеческой силы, полный муки и боли, вопль.

Анна Григорьевна прижала руки к груди, а Петя побледнел так, что даже задрожал.

Внуков снял иголку, остановил диск.

Несколько минут все сидели, словно оцепенев. Это кричал не актёр, это был крик живого человека...

– Что это такое?

– Давайте, всё же послушаем, наберёмся терпения, – сказал Внуков.

– И мужества, – сказала Анна Григорьевна.

– Пластинка звучит пять – шесть минут, потерпим.



Всё повторилось, но в этот раз все выслушали вопль спокойнее. Один Петя, как и в первый раз исказился лицом и побледнел.

Словно обрубая вопль, жёсткий властный бас сказал:

– Уводите её. Следующий.

– По списку Макшеев Степан Игоревич, – сказал другой голос.

Фамилия показалась Животову знакомой, где-то он встречал её. Он быстро перебрал в памяти, среди знакомых и друзей такой фамилии не было.

– Давайте Макшеева, – сказал первый голос, наступила длинная пауза, прервав которую этот же голос ругнулся – Ах, чёрт, – и запись продолжалась до конца.

– ...поговорить о свободе, – сказал голос. – Любопытный вы человек. До сего дня этот кабинет слышал мольбы, угрозы, проклятия, ругань, но о свободе здесь говорят впервые.

– А как вы понимаете «свободу»? – сказал третий голос, судя по тембру, тенор. Раньше этот голос не звучал.

– Я знаю одно определение свободы. По Марксу свобода – осознанная необходимость.

– Это субъективизм чистой воды – сказал тенор.

– Субье...

– Субъективизм.

– Что это значит?

– Это значит, что понятие о свободе целиком зависит от человека. Как человек его понимает, такое у него понятие о свободе. Этим правилом, конечно, не зная о нём, не подозревая о его учёном происхождении, руководствовались американцы, истребляя индейцев. Для них истребление индейцев, т.е. сгон их с территорий, которые они заселяли веками, захват их лесов, вод, были необходимы. Они это осознавали, следовательно, в отношении индейцев они вели себя абсолютно свободно.

– Но индейцы с этим не могли согласиться.

– Это уж их дело. Не соглашаетесь, отстаивайте своё понимание свободы, не можете сопротивляться – покоритесь.

– Следовательно, понятие свободы относится к силе. Кто силён, тот и свободен, тот и прав.



– Да, по вашему Энгельсу это так. В таком понятии свободы нет места Богу. Ну, известно, что Ваши учителя, Маркс и Энгельс, в Бога не верили.

– А какое понятие свободы у индейцев?

– Примитивное, естественное. Жить своим обществом, ловить рыбу, бить зверьё, сеять зерно, растить детей.

– Цицерон, римский оратор, утверждал, что свобода состоит в соблюдении законов. Это понятие из того же ряда, что и осознанная необходимость. Законы создавались рабовладельцами и для рабовладельцев. Рабы были объектами законов.

Как потом пришли к общему выводу Внуков и Животов, на пластинке был записан спор двух людей. Один из них, предположительно, ибо безоговорочно утверждать ничего было нельзя, был сотрудником ЧК, скорее всего начальником, второй арестованным. Этот арестованный окончил при царе Казанский университет и был, очевидно, юристом или окончил философский курс. Они спорили о том, что такое свобода. Не спорили, говорил большей частью арестованный, чекист только слушал, изредка вставляя два – три слова. В своих суждениях он оперировал именами Юма, Конта и приводил такие формулировки, какие Внуков и Животов слышали впервые.

Затем наступила пауза, иголка только шипела, не извлекая звуков..

– Товарищ председатель, что с этим дворянчиком делать? – сказал новый голос.

– С каким дворянчиком? Их много, – ответил бас.

– Да что у вас-то сей минут сидел.

– Я разве сказал, что с ним что-то надо делать? Дурака не валяй. Пусть сидит. Отведи его в соседнюю камеру, чего ему в общей сидеть, маяться. Разговор у меня с ним.

И снова пауза. Шипение иголки по чёрному диску.

В эту паузу Животов вспомнил: «Макшеев» – была фамилия из списка, прилагавшегося к телеграмме Дзержинского.

Запись внезапно возобновилась.

– Свобода – категория философская, – говорил уже знакомый голос, – понятие свободы по-разному рассматривали



Шопенгауэр, Гегель, Аристотель, Спиноза. Истина познаваема, но процесс познания бесконечен, сказал кто-то из ваших марксистских мудрецов, хотя тут кроется логическая уловка. Мне гораздо ближе христианское понимание свободы: не делай другому то, чего не желаешь себе. Вот истинная свобода. Правда, здесь философское понятие свободы смыкается с понятием этическим, однако, чтобы свобода была не только предметов споров и дискуссий, но приносила реальную пользу, мы должны это сделать.

Необходимо отделять понятие свободы от вседозволенности, произвола, что предполагает свободу человека в своих поступках вне зависимости от общества, руководствуясь только своими личными пожеланиями и стремлениями. Если допустить такое понятие свободы, то преступник, убивая человека, или покушаясь на его честь, имущество, осуществляет своё право на свободу убивать и насиловать. Понятие свободы осуществляется только в связи с отношением к обществу. Следовательно, понятие свободы не личное, а общественное: не что хочу, то и ворочу, а что требует и позволяет общество.

– Но так только говорится. Царь был христианином, а Кровавое воскресенье, а Ленский расстрел, а война...

– То, что вы называете Кровавым воскресеньем, было провокацией, которую организовал поп Гапон, нужно было совершить нечто такое, что всколыхнуло бы государство, Царя Николая не было в Зимнем дворце и вообще в Петербурге; это ложь, что якобы он смотрел в окно из-за штор, как расстреливали шествие рабочих, злобный навет на него. К Ленскому расстрелу царь не имел никакого отношения, он узнал о нём только после того, как расстрел совершился. К войне нас вынудили. Какая в этом вина царя?

И вообще жить по Христу сложно, но можно, свидетельство – сонм святых угодников.

Слушатели странной грамзаписи не были искушены в философских словопрениях, кое у кого голова пошла кругом.

Первой поднялась Анна Григорьевна.



– Честное слово, это бред сумасшедших. Не могу дальше слушать. Один за здорово живёшь может расстрелять другого, а оба рассуждают о свободе. Это возможно только в России. Или в сумасшедшем доме.

– Мать моя, демократы наши спасибо-то какое тебе сказали бы большущее, – как-то даже радостно откликнулся на слова жены Викторин Андреевич, – у них ведь для нашей Родины других слов нет как тюрьма народов да сумасшедший дом. Она и сейчас такой дом. И кто это говорит? Не Хакамада, не полуумная Новодворская, а простая русская баба, да ещё и жена писателя.

– Ну хватит, Витя, ты сейчас распоешься, из меня какую-нибудь фурию демократии вылепишь, вроде блудилицы Рейснер, – недовольно сказала Анна Григорьевна.

– А хорошо один остроумец сказал: Что в Японии называют – харакири, в России именуют – хакамада.

– Пойдём лучше, Петечка, на кухню чай пить, я там для тебя круассаны припасла, – позвала Петю Анна Григорьевна.

Сменив ещё две пластинки, остановили патефон и Внуков с Животовым.

– С нас довольно. Проблему свободы обсуждать не будем, – сказал Внуков. – Как говорил наш замполит батальона «Разговор на эту тему портит нервную систему». Чтобы философствовать, нужно иметь особое устройство мозгов. Но меня занимает вопрос: откуда взялись эти пластинки. Ясно, что это не постановка, когда люди записывают разученный текст, но что тогда?

Животов сказал, что ЧК первоначально занимала помещение студии звукозаписи. Студия насчитывала несколько помещений – кабинетов. Изнутри для звукоизоляции студия была обита пробкой. Расстреливали в подвале или на окраине кладбища, за городом.

– А какое, Витя, у тебя понятие о свободе? – спросил Животов.

– Как у индейцев, – сказал Внуков, – жить среди своего племени, зарабатывать на жизнь, растить детей, внуков и чтоб никакая гнида европейская или заокеанская учить меня не смела как Родину – мать любить.



Сегодня предстоял важный и необычный визит.

Ещё утром, проснувшись, Ширков вспомнил и подумал о нём. После наскоро прочитанных утренних молитв и вычитки дневного Евангелия, за утренним чаем, он думал только об этом.

– Ты чего какой-то смурной с утра, – сказала совершавшая утренний макияж жена Маргарита. – Случилось что?

– Нет, Рита, всё нормально. Не передумала, едем в Севастополь?

– С чего я должна передумать? Завтра последняя примерка, платье уже готово.

– У женщин одно на уме, – улыбнулся Ширков, чмокнув проходящую жену в щёку.

– Неужели я в Севастополе буду ходить в том платье, в котором хожу дома?

– Да кто ж в Севастополе знает, что это платье домашнее?

– Ширков, не зли меня с утра.

– А с обеда можно? – машинально сказал Владимир Леонидович.

Вчера в редакцию позвонили из епархии. Такой звонок был новостью, в газету звонили из обкома, горкома, с предприятий, но из епархиального управления впервые. И звонил никто иной, как сам Владыка Михей. Профессиональный журналист не должен тушеваться ни при каких условиях, но Ширков поневоле замешкался и два раза переспросил, кто звонит. Архиепископ Михей сказал, что на паях с областным обществом охраны памятников задумано издание епархиальной газеты «Благовестник». Не согласится ли уважаемый Владимир Леонидович дать свои консультации по этому вопросу.

Сойдя с автобуса и шагая по Панкратова к одноэтажному дому за высоким глухим забором, Ширков с удивлением почувствовал, что волнуется как начинающий репортёр. Он давно поборол в себе робость. Ему, в сущности, было всё равно с кем встречаться: с учителем школы, слесарем на заводе или с первым секретарём обкома. Но то были обычные люди, свои,



привычные, светские, а Владыка был из другого мира, из другой жизни. Несколько лет назад принявший крещение Ширков вроде бы должен был видеть в архиерее такого же христианина как он сам, к тому же бывающего в их храме. Но одно дело видеть и слышать его в храме, когда он с амвона произносит проповедь, а другое, быть с ним наедине и разговаривать, как гласило старое выражение, уста в уста.

Когда Ширков нажал кнопку звонка, вместе с трелью, прозвучавшей вдалеке, в калитке что-то щёлкнуло, она приотворилась, словно приглашая войти. Кнопка звонка одновременно отпирала замок. Во дворе дома размещались хозяйственные постройки. По двору, по натянутой проволоке бегала и свиреполаяла большая косматая псина. Пройти было можно по узкой дорожке возле дома, но жаться к стене, опасаясь, что зубастая животина всё-таки дотянется до тебя и тыпнет, не улыбалось. Ширков остановился, ожидая поворота событий. Из домушки, возле сарая выбежал мужчина в фуфайке и длинном до колен фартуке, схватил пса за ошейник и оттащил в сторону. А с крыльца в сером поношенном подряснике спешил сам Владыка.

– Простите великодушно, уважаемый Владимир Леонидович, – благословляя Ширкова, извинялся он, – зачитался, нужно было выйти пораньше. Не произвело на вас ощущение душевного дискомфорта буйство этой свирепой твари?

– Нет, нет, что вы, Ваше Высокопреосвященство. Я люблю собачек.

– Я бы не назвал этого монстра собачкой. Но это на Ваше усмотрение. Район у нас беспокойный, в целях безопасности держу этого неусыпного стража. Милости прошу.

«Как в музее, – подумал Ширков, миновав веранду и заходя в дом. Старинная мебель стулья, стол в парадной комнате (гостиной). На стене в рамке какая-то грамота Крупными буквами HONORIS CAUSA и строкой ниже: Ezbischof Michei¹.

– Диплом Почётного доктора богословия Гейдельбергского университета.

¹ За заслуги... архиепископ Михей

– Да, да, – сказал Ширков сразу вспомнив городские разговоры о свободном владении Владыкой немецким языком и вообще о его высокой учёности.

Зная о впечатлении, которое производило его жилище на людей, впервые попавших сюда, Владыка спокойно ждал, пока Ширков осмолит всё. Понимая, что он поступает невежливо, Ширков не мог оторваться. Люди ходят в музеи, платят деньги за билет, а этот человек в нём живёт. (Квартира была абсолютно непохожа на всё, что он где-либо видел. Во-первых, не было пресловутой стенки, с горками тарелок и рядами разнокалиберных хрустальных рюмок. Четыре стены одной комнаты были сплошь заставлены книгами. Ширков постеснялся спросить, зачем Владыке собрание сочинений Ленина, и даже Сталина, а среди книг на иностранном языке, он прочитал F. Halder Kriegstagebuch².

– Ооо! – промычал Ширков, подавленный обилием книг, и не в состоянии как-либо разумно выразить своё восхищение.

– У меня довольно скромная библиотека, – заметил Владыка. – Есть гораздо больше, богаче.

В смежной комнате три стены были заняты иконами. В правом углу под большим образом Спасителя стояла простая железная койка. Среди многих гравюр, украшавших стену с надписями на немецком языке, с изображениями европейских городов, над старинным пианино висела картина «Моление о чаше», а на противоположной стене на картине изображены трое весёлых, весьма упитанных, пухлых монахов. Один из них наклонял бочонок с вином, наливая вино в бокал, который держал второй монах, а третий, постарше, что-то говорил, подняв пухлый правый указательный палец к небу.

– Как вы думаете, уважаемый Владимир Леонидович, что говорит третий монах?

Ширков знал, что в таких ситуациях говорят люди, тем более, что лица монахов выражали предвкушение хорошей вы-

² Ф. Гальдер Военный дневник.



пивки. Но, сообразуясь, с обстановкой, с тем, что архиепископ всё же монах, он ответил уклончиво:

– Мне думается, он порицает своих сотоварищей монахов.

Владыка, метнув в его сторону пронизательный взгляд, усмехнулся:

– Отнюдь. Он поощряет своих друзей и не прочь дождаться своей очереди. Об этом говорит текст под картиной: *Vinum laetificat cor hominis*, что значит: Вино веселит сердце человека.

Такие речи от архиерея Ширкову слышать было странно, а Владыка продолжал удивлять его.

Он сел за раскрытое пианино и, потеряв кисти ладоней, как будто они у него озябли, коснулся клавиш и заиграл. Да заиграл так, словно это был не епархиальный Владыка, имеющий под своим попечением три десятка церквей и два монастыря, занятый решением финансовых, духовных, кадровых проблем, постоянно помнящий о взаимоотношениях с властью, а искусный музыкант.

Пассажи следовали один за другим, лилась мелодия, перебиваемая резкой сменой настроения. Ширков не знал, что за произведение исполняет Владыка, но чувствовал его драматическую основу. Борьбу, смятение чувств и конец этой борьбы был печален.

– Владимир Леонидович, Вы – писатель?

– Не совсем, точнее сказать – журналист.

– Ну всё равно – человек пишущий, знающий нашу русскую литературу.

Ширков, смутившись, тихо произнёс, что да, конечно, знаком.

– Какой писатель избрал эпиграфом к своей повести это произведение?

Ширков сознался, что не знает.

– Александр Иванович Куприн, повесть «Гранатовый браслет». Вторая соната Бетховена.

Владыка, в сущности, уличил его в невежестве, но сделал это так тактично, что Ширков не почувствовал ни грамма обиды, а только досаду на своё незнание.



Потом принесли чай. За чаем говорили о разном. Ширков неплохо знал оперу, русскую и зарубежную, и живо беседовал об этом. А когда он назвал отечественных певцов и в их числе ныне забытого, которого знают только специалисты, Дмитрия Александровича Смирнова, Владыка просиял и поблагодарил его за его знания.

– Признаться, уважаемый Владимир Леонидович, я было подумал в связи с Гранатовым браслетом, что вы в музыке профан, теперь с радостью признаюсь, что ошибался и прошу прощения. Прощаете?

Рот Ширкова был набит вкусным печеньем, поданным к чаю, он, покраснев, быстро закивал головой, подумав, что Маргарита выкорчила бы его за неумение себя вести.

– Вот и прекрасно, – сказал Владыка, снова сел за пианино. – Я вас не задерживаю? А то скажете: старый архиепископ, соскучившийся по незнакомым, молодым людям, взял меня в плен. Сначала напоил чаем, а теперь потчует фортепиано. Как в басне Крылова «Демьянова уха». Так потчевал сосед Демьян соседа Фоку, и не давал ему ни роздыху, ни сроку.

– Нет, нет, что Вы, Ваше Высокопреосвященство, я только рад.

Владыка, не ожидавший иного ответа, сыграл две оперные арии: Роберта из «Иоланты» и Томского из «Пиковой дамы».

– Узнаёте?

Ширков назвал оперы.

– Приятно иметь дело со сведущим человеком. А то сейчас в моде рок, а это, по моему мнению, надругательство над музыкой. Господь создал мир реальным, и всякий, кто поклоняется дисгармонии, отвергает красоту мира Божия, поклоняется сатане. Ведь сказано, что сатана – отец лжи, а рокеры, художники-абстракционисты и иже с ними, они лгут, что окружающий нас мир такой, каким они видят его, значит, кому они служат?

Вопрос, который Владыка хотел обсудить с Ширковым, они решили скоро. В конце обсуждения Владыка Михей сказал, что издание газеты – начинание благое, душеполезное, даст Бог, не газету будем издавать, журнал, но епархия не так богата, как молва судачит, дескать, у попов денег куры не клюют,



это не так. Нужно искать средства, обратиться к людям, я не хочу употреблять гадкое, неблагозвучное слово спонсор, предпочтительнее называть их по имени Гая Цильния Мецената.

– Или благотворителями, – подхватил Ширков, – таких, как Третьяков, Бахрушин, Морозов...

– Да, да, да, – откликнулся Владыка.

Вдруг зазвонил телефон.

Владыка снял трубку.

– Да, я Вас слушаю... Конечно, читаю... Я все газеты читаю, кроме бульварных... А при чём тут свобода совести? Что может быть общего у Господа с Велиаром... Так, один малоприятный господин, – Владыка, прикрыл ладонью трубку, наклонился в сторону Ширкова, – Спрашивают, кто такой Велиар. Да готов, но сразу предупреждаю Вас или того, кого направят брать интервью. Никаких вопросов, клонящихся к умалению чести веры и церкви, я не потерплю. Только при обоюдном уважении взглядов сторон я согласен на беседу с вами. Всего хорошего.

Владыка положил трубку и расхохотался:

– Спрашивают, не могу ли я поспособствовать во встрече с господином Велиаром. Ха-ха-ха. Что за люди выросли, – лицо и лысина Владыки покраснели от хохота, душившего его. – Ох, Господи.

Успокоившись и утирая платком лицо и лоб, Владыка отпил из стакана и сказал, что звонят из областной газеты, просят дать им интервью.

Ширкова приятно удивила манера Владыки. С газетой, в которой не так давно печатались атеистические, полные злобной издёвки статьи и заметки, он говорил с чувством достоинства, ни капли приниженности, заискивания и радости, что ему предлагают выступить там, куда ему раньше вход был заказан.

– Да, *tempora mutantur et nos mutamur in illis*, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Рад был познакомиться с Вами, Владимир Леонидович, встретиться с культурным, образованным человеком. Звоните, заходите, двери моего дома открыты для вас. Но накануне позвоните, чтобы Цербера убрать.



XI

Вечеру Викторин Андреевич Внуков вышел на балкон.

Перед ним расстился знакомый – перезнакомый двор: столетние тополя, между ними беседка, в которой по идее люди должны собираться в такие вечера беседовать о добром, чистом, но после того, как беседку оккупировали местные алконавты, никто там не беседует, а в беседке и возле неё становится всё гаже и гаже, одно время он принялся наводить порядок, собирал пустые бутылки, пивные банки, аптечные фанфурики, окурки, думал, соседи поддержат его, но соседи, привыкшие, чтобы за ними убирала, а самим им убирать было понизко (дом строился для обкомовских работников, а в его квартире некогда жил первый секретарь), не откликнулись, не посочувствовали ему, то и он бросил работу дворника на общественных началах. Хотя иногда сердце не выдерживало, возмущалось. Из-за угла дома показывала свой гранёный бок Владимирская колокольня, XVII века постройки, одно из красивейших зданий города. Говорят, что архитектура – это организованное пространство. Колокольня была организована удивительно, на приземисто – массивном четверике (Господи, и ты начинаешь думать языком экскурсоводов) возвышалось гармоничное и на диво пропорциональное восьмигранное тело, увенчанное дивных пропорций шатром. Колокольной можно было любоваться бесконечно, хотя вроде что такого: на высоком фундаменте построили восьмиугольную башню, накрыли её, естественно, восьмиугольным шатром – и всё, но взгляд не мог оторваться от этих строгих певучих линий, от тех невесомых масс, стремящихся к небу и исчезающих там. Колокольня была сродни музыке.

Но не колокольня и уж, конечно, не беседка занимали его сегодня. Он не мог забыть, отделаться от впечатления, произведённого на него грампластинкой. Судя по голосу, по интонациям, по модуляциям страстного, тягучего крика, кричала женщина. Она пришла просить за кого-то, ей отказали; её приговорили к расстрелу и сообщили об этом; или её били, жесто-



ко, зверски – причины крика могли быть разными, в их числе и такими, о которых не хотелось думать и предполагать, но этот крик, крик униженного, втоптанного в грязь человека, потерявшего всё, даже надежду на жизнь, будил мысли об эпоее, которую он задумал давно, о которой не переставал думать многие годы, которая неоднократно снилась ему, и материалы о которой он начал усиленно собирать в последнее время.

Годы уходили, не за горами семьдесят, он не может умереть, не написав этого.

Надо с Животовым поговорить, он что-нибудь знает о тех временах, у него есть доступ к чекистским документам.

Сейчас он был занят самым трудным делом. Достоевский называл это составлением планов. Нужно в общих чертах представить, что будет происходить. Многое придёт потом, в процессе самой работы, непосредственно письма. Многое из обдуманного, при письме изменится неузнаваемо, что-то вообще уйдёт, станет лишним и то, что тебе пришло озарением в голову, что ты любил и смаковал, представляя, как оно ляжет в текст, вдруг окажется лишним, будет не влезать в текст, выпирать из него, как ты его ни будешь заталкивать, нужно будет вообще убрать, выкинуть его. Всё обдумать, до мелочей, до удачных, метких словечек, когда одно такое словечко, вылившаяся фраза осветит всю страницу, невозможно. Но это потом, а сейчас самое главное, насущное...

Михаил Григорьевич Комяков – главный герой эпопеи, был человек не выдающийся, простой. Описывая его обыкновенную жизнь, Викторин Андреевич хотел показать, как в его жизни отразились исторические события, среди которых он жил. Родился он в захудалой деревне Тиховодского уезда и был вполне заурядным человеком, клеточкой народной массы. Ничем не выделялся, особо не увлекался, Господь не дал ему никаких особых дарований. Он был среднестатистической единицей. И весь народ состоит из единиц. Люди-десятки в народе редки, сотни обращают на себя внимание, тысячи становятся предметом восторга и зависти, а десятитысячников, тех вообще наперечёт, таких, как например, Лев Толстой.



Комяков не был Львом Толстым и, пожалуй, Внукову и в голову бы не пришло писать о нём, но в руки ему попался дневник Михаила Григорьевича. Значит, Комяков был уже не совсем обыкновенный человек, если вёл дневник, значит, таилась в душе его, какая-то граммулечка надежды на бессмертие, ну, если не совсем на бессмертие, то хотя бы на послежизненную известность. Люди, ведущие дневник, как правило, тщеславны, хотя скрывают это.

С детства нежная душа Мишеньки была удручена крестьянским трудом, труд этот был очень тяжёл. Окончив уездное училище с похвальным листом, он устроился в волостной управе писарем.

Затем военная служба. Далась она Михаилу Григорьевичу не легко, изнуляли пешие переходы, строевые занятия, необходимость подчиняться, но самое страшное и до боли душевной отвратительное, кулак фельдфебеля или взводного командира. Как ни старался Михаил Григорьевич быть исправным, учить уставы, тянуться в строю, но нет человека, который бы в жизни не оступился, слёзы довелось ему пролить не единожды и до последних дней своих, а дни его пришли к концу в 1957 годку, помнил он те унижения, какие пережил. С отвращением скинув солдатскую шинель, в Петрограде он окончил бухгалтерские курсы Побединского³, годы на курсах, напротив, он помнил как счастливейшие дни своей жизни.

По окончании курсов он с рекомендательным письмом занял должность старшего счетовода в губернской земской управы, женился на мещанке Наталии Волковой, снимал хорошую квартиру в новом доме по Московскому тракту (в этом доме ему доведётся жить всю жизнь, только съехав из второго этажа на первый). Любил Михаил Григорьевич, посиживая на балконе за самоварчиком да графинчиком наливочки, покупать хорошую душистую папироску и не без горделивости подумывать, а посмотрела бы родная матушка на своего Миш-

³ Побединский Михаил Владимирович (1859–1926), коммерсант, преподаватель, надворный советник



ку, которого драла как сидорову козу, в какие люди он вышел. Но не увидит маменька, покоится она на сельском погосте под деревянным крестом, спит рядом с родимым тятенькой.

И всё бы хорошо, да грянула война. Чего не поделили благоверный царь Николай Александрович и немецкий кайзер Вильгельм, Бог весть, только подлежал младший фейерверкер Комяков призыву в Действующую армию. Не военным был человеком Михаил Григорьевич, имена Суворова и Кутузова не пробуждали в его сугубо штатской душе никаких героических устремлений, всей душой он желал одного – вернуться в Тиховодск к Наталье. Бои в Восточной Пруссии были жестокие, немцы обстреливали наши позиции, от их тяжёлых снарядов, которые неунывающие солдаты, гроша за душой не имеющие, прозвали «чемоданами», тряслась земля; тряслась она и под телом Михаила Григорьевича, у которого в банке лежал небольшой капиталец, да и дома золотишка было припрятано. Умирать ему никак было нельзя. Писал он другу своему сердешному Михаилу Попову, должность в военном присутствии занимавшем, отчаянные письма, умолял вызволить его из этого ада.

Получил ли друг эти письма Михаил Григорьевич не узнал, потому что хитроумный немец Гинденбург вкупе с таким же злокозненным немчином Людендорфом окружили русскую армию, и господин младший фейерверкер зашагал с тысячами таких же бедолаг по липучей немецкой грязи в плен.

Всю войну он пробыл в плену, работал батраком на ферме у немца, а затем счетоводом в имении, когда хозяин узнал о его профессии. В 1918 году Комяков вернулся в Россию.

Уехал Михаил Григорьевич из Тиховодска царского, а вернулся в Тиховодск советский. Его скромный капиталец новая власть национализировала, а его самого «добровольно» мобилизовала в Красную армию. К счастью, он избежал «Всех на борьбу с Колчаком, с Деникиным, с Врангелем», он служил в финансовой части в штабе Армии, размещавшемся в гостинице на Московском тракте, и обедать ходил домой. И не ходил, ездил. Полагался ему, как работнику штаба верховой жеребец (товарищ Самойло, командующий армией приказал



дать, чем-то залюбился ему Михаил), и как бывало ехал он от штаба верхом по Советскому проспекту (а и пешком-то хода пять минут), копыта по булыжной мостовой поцокивают, поцокивают, а Наталья в воротах стоит, на него любитесь, а соседи завистливо глазают. Ни до, ни после не было Михаилу Григорьевичу такого почёту. Но горько отозвался ему этот почёт, когда товарища Петина, начштаба армии, в 1937 году врагом народа объявили. Постояла тогда Наталия свет Ивановна у тюрьмы на Архангельском тракте (по-советски – улица Чернышевского) с узелком передачи. Пока не надоумили её поехать к товарищу Самойло, проживавшего к тому времени в Ленинграде. Оставила она сынков Кириюшу и Ваню на соседку, приехала в Ленинград, да насили до Самойлы-то добилась. Не хотел он её ни видеть, ни слышать. Говорили ей, надо свечку блаженной Ксении поставить, да как поставишь, ежели у часовни милиционеры дежурят, хватают каждого. Непогодной ночью прокралась она к часовне, а ветер, злющий, спички в руке тушит, штук сорок она извела, исчиркала, зажгла, наконец, загорелась свечка на секунду одну и потухла. А Самойла на другой день до себя и допустил. «Помню, – говорит – Вашего мужа, толковый, исполнительный, старательный. Да что я сделать могу, – наклонился к уху Натальи, шепнул: «Как бы самому уцелеть, не отправиться в Могилёвскую губернию. Не ходи ко мне больше», – и выпроводил из дома. Пока ехала от Ленинграда до Тиховодска всё ревела, поди-ко ведро слёз пролила, приехала, а Миша дома, сидит за самоваром, её ждёт, и сынки оба, отца обнимают, целуют.

Но когда это будет. А пока Михаил Григорьевич служит в штабе армии, заведует учётом сапог, портянок, шинелей и прочей солдатской амуниции.

Был погожий сентябрьский день, надвигался день Рождества Богородицы. На колокольне Спаса Всеградского звонили. Михаилу Григорьевичу сказали, что внизу его ждёт жена. Он строго – на строго запретил Наталье заходить в штаб, на этот счёт существовал особый приказ товарища Петина, в котором разъяснялось, что, поскольку штаб дислоцируется в городе,



родном для многих работников штаба, посещение штаба родственниками воспретить. Виновные будут строго наказаны (отправлены на фронт). Спеша по коридорам штаба, Комяков предвосхищал (он недавно услышал это слово и теперь совал куда надо и не надо) как он даст Наталье хорошую выволочку. Он увидел её издалека, сидящую на стуле рядом с часовым у входа. Наташа была на восьмом месяце, громадный живот торчал над коленями. И ещё он увидел, что погиб. Человек, подававший жене стакан с водой и всячески хлопотавший возле неё, был никто иной, как автор страшного приказа, товарищ Петин. Комяков уже видел себя в землянке где-нибудь под Яренском, в холоде, в грязи, полуголодного.

Наташа была страшно бледна, про такое лицо говорят «ни одной кровиночки». К тому же она была явно не в себе, смотрела на всех блуждающим взглядом и говорила какую-то несвязную чепуху. Петин, узнав, что он её муж, не приказал отправить его на фронт, а сказал, что жене его стало дурно, её нужно срочно доставить домой, и до завтра предоставляет ему отпуск.

– Что ж Вы, товарищ Комяков, разрешаете своей жене, так свободно гулять по улице, – выговаривал ему участливый голос за спиной. Комяков обернулся и обомлел. Сзади стоял сам командарм товарищ Самойло (в прошлом царский генерал).

Наташа оправилась быстро, не сказала мужу, что так напугало её, утром вела себя как обычно, а через три недели благополучно родила первенца, сынишку, названного Кириллом.

Мальчик рос, как все дети, но лет с трёх у него появились странности, целые дни он проводил у радио, особенно выделяя музыкальные передачи. Если радио выключали, когда там пели песню, малыш устраивал истерику, настаивая, чтобы радио включили, и слезами добивался своего. Репродуктор, один на всю квартиру, в которой жило пять семей, висел на кухне и, когда по радио передавали оперу, вся квартира вынуждена была её слушать, чтоб не нервировать Кирию. Михаил Григорьевич однажды стал свидетелем необычайного явления. Он подсмотрел в дверную щёлку, как Кира сначала



оглядел все пустые банки в своей конторке, стучая по боку банки карандашом, и прислушиваясь, потом обшарил все конторки соседей, проделывая ту же процедуру. Выстроил семь банок в ряд, и, стоя перед банками, выстукал карандашом строчку из Интернационала «Вставай, проклятьем заклеймённый.» Закончить ему не дали, на кухню ворвалась Клотильда Карловна, вдова управляющего бывшей Казённой палаты, увидела раскрытую конторку и устроила такой скандал, натуральный скандалище...

Но музыкальную одарённость Кири отрицать было невозможно.

Преподаватель музыкальной школы Илья Гинецинский, прослушав Кирию, сказал:

– Михаил Григорьевич, это сокровище. Музыкальность феноменальная. Как у Моцарта.

Эти слова, чрезвычайно обрадовавшие и возбудившие его, Комяков передал однополчанину, одноному сапожнику Виктору Хохлову.

Наливая другу в стакан самогона, Виктор сказал:

– Что ж, может, он и прав. И среди жидков попадаются иногда умные люди. А сапоги, к примеру, они шить не умеют. А я умею, и граф Лев Толстой, между прочим, тоже умел.

Квартирка Комякова была мала, всего две комнатухи, пианино не вместишь, и Кирия учился играть на скрипке. Обучение платное. Тут и пригодились золотые червонцы, которые Комяков хранил в одном ему известном месте, на чердаке. В местный Торгсин часто ходить было опасно, Комяков ездил разменивать золото в Ярославль, в Москву, а работал он бухгалтером в привокзальном буфете, благодаря чему имел льготы на проезд по железной дороге.

Сын, развиваясь в музыкальной школе, развивал и отца. Михаил Григорьевич узнал о существовании грифа, деки, колков, пиццикато, глиссандо, бемолей, диезов, арпеджио, услышал о славных именах Страдивари, Амати, узнал об отечественных исполнителях Хандошкине, Афанасьеве, Венявском, а Давид Ойстрах звучал по радио чуть не ежедневно.



Первые уроки Кири причиняли Михаилу Григорьевичу страдания: из-под смычка выходил порой такой скрип, такой душу раздирающий визг, что хоть из дома беги. Однако Кирия быстро делал успехи, появился чистый, плавно текущий звук, скрипка запела, слушать сына становилось удовольствием, появились первые победы на внутришкольных концертах, на городских, областных конкурсах и даже на конкурсах молодых скрипачей в Кремле. О нём напечатали в «Правде».

Это событие перевернуло Комякова. Читая в «Правде» свою, как будто чужую фамилию, он чувствовал, что устои всей его жизни шатнулись. В газете, где печатали самого Сталина, была тиснута его фамилия. В этот миг, когда за окном светило солнце, пели птицы и больные из воднической больницы сидели на лавке и переливали из пустого в порожнее одни и те же разговоры о хлебе, дровах и картошке, Михаила Григорьевича пронзила мысль, что всю жизнь он прожил с одной мыслью, одной тайной – мечтал он о том, чтобы память о нём осталась после его смерти, чтобы люди знали, что жил на свете такой человек – Михаил Григорьевич Комяков, чтобы не была его жизнь подобием тени, проскользнувшей по земле, не оставив никакого следа. На похоронах часто говорят, что не забудут человека, будут помнить о нём, но забывают быстро. Надёжней память сохраняется в семье, но следующее поколение в массе не помнит никого. Что он сделал, что создал, чтобы о нём помнили? Ничего. Бухгалтеров-счетоводов тысячи по Союзу. Оставили они после себя отчёты, годовые балансы, которые никто не будет перечитывать и после обязательного срока хранения их сожгут в какой – нибудь кочегарке или вывезут на свалку. Кирия пробудил эту мечту, горевшую в юности, но потухшую уже в плену. Кирилл будет великим музыкантом, вместе с сыном будут помнить и его отца.

Михаил Григорьевич бережно свернул газету, положил в ящик комода, где хранились документы и полученный в детстве похвальный лист.

Всё рухнуло в один миг. Как при землетрясении разломился казалось бы прочный покров земли, открылась трещина



глубины неимоверной, и в эту трещину ниспроверглось всё, и мечты, и вечная память, всё. Нет, Михаил Григорьевич, Наталия Ивановна и сыновья их остались жить, и прожили достаточно долго, но жизнь потеряла смысл, значение. Они продолжали жить, как живут миллионы, никогда не обременяющие себя смыслом жизни.

Однажды, то был светлый день бабьего лета, воздух был свеж и прозрачен, дорогу и тротуары украсили цветные пятна кленовых листьев, двор усеивали продолговатые бочонки жёлудей, и лёгкий ветерок мёл по тротуару золотую мелочь березовой листвы, сборищами по тридцать – сорок голов, вернее клювов, собирались воробьи и о чём-то гомонили на своих народных собраниях, из раскрытого окна на кухне (надо скоро окна законопачивать на зиму) доносилось пение Кирюши. Радуюсь одному из последних тёплых дней, живописному убору деревьев, пению сына, Михаил Григорьевич взбежал на крыльцо, ступил в коридор, ведущий к кухне и... воздух остался у него в горле. Он услышал, что поёт сын и чуть не заорал на него:

– Прекрати! Замолчи, мерзавец! – но крик мог привлечь внимание посторонних. Сын пел песню о Сталине, но в местах, где звучало имя вождя, вставлял «Гитлер» и вообще чудовищно переиначивал, коверкал песню. Он зашёл на кухню, сын продолжал петь как ни в чём ни бывало. Михаил Григорьевич кинулся к нему, зажал ладонью рот. Киря вырывался, кусал ладонь, бросился на отца с кулаками.

– Ты что делаешь? Что ты делаешь, – хватая сыновьи руки, в замешательстве говорил, иногда вскрикивая, Михаил Григорьевич. Послушный, смирный Киря походил на взбесившегося щенка.

– Ты понимаешь, что поёшь? – спрашивал отец успокоившегося сына. – Не дай Бог, кто услышит. Ведь нас посадят. И тебя, и нас заодно.

Сын молчал, посторонним взглядом посматривая изредка на отца.

– И Ваню? – спросил Кирилл о младшем брате.



– Ваню отдадут в детдом.

Кирю показали невропатологу. Ничего страшного, нервный срыв на почве переутомления. Часто занимается инструментом?

– Готов круглые сутки пиликать, – конфузливо сказал Михаил Григорьевичу и тотчас ему стало стыдно, что он сказал об игре сына «пиликать».

– Надо уменьшить нагрузки, больше движения, игр на свежем воздухе и попейте бром, три раза в день.

Никто не знал, что скрипка уже мучит Кирю. Он с радостью внял рекомендации врача и почти не прикасался к скрипке, а допоздна бегал с ребятами во дворе, сражался на палках, играл в «двенадцать палочек», совершал походы в речной порт, в Турундаево. Если раньше Кирю было не оттащить от скрипки, то теперь надо было заставлять.

А срыв последовал снова.

Как в дурном, страшном сне начало его повторилось, только на дворе ветер мёл не листву, а нёс поёмку. Михаил Григорьевич шёл домой и опять улыбался от беспричинной радости. На душе было легко и светло. И опять он услышал пение Кири. Но в этот раз сразу насторожился. И в следующий же миг, зажав сыну рот, поволок его в комнату, где не так слышно. Сын сопротивлялся, вырывался, царапался и в краткие промежутки, когда удавалось высвободить рот орал такую анти-советчину, что хоть святых выноси.

В этот день Михаил Григорьевич заплакал, Киря, его надежда, его гордость, набесившись, искусав отца до крови руки, спал на диване под портретом Паганини в изголовье, а Михаил Григорьевич сидел, скрестив обкусанные руки, смотрел на несчастного сына и слёзы беззвучно текли по щекам. Пришла с работы Наташа (она работала медсестрой в горбольнице), всё поняла, тоже заплакала и со слезами стала готовить ужин. Ванечка, обняв отца сбоку, смотрел на него, шмыгал носом, хотел заплакать заодно с отцом.

В этот раз пошли к другому врачу, поехали в деревню Кувшиново, в психиатрическую больницу. Кирю осматривали три



врача и вынесли неутешительный диагноз: посттравматическая шизофрения.

Но где, какая могла быть у Кирюши травма? Голову он нигде не ушибал. Бывали, конечно, удары о стол, когда малышом вылезал из-под него, бывали удары о притолоку низкой двери, но с кем из детей этого не случалось? Однако он никогда не терял сознания. И тогда Наташа напомнила Михаилу Григорьевичу тот день, когда вопреки запрету, она зашла в помещение штаба армии.

Она выходила из аптекарского магазина на Каменном мосту. От Гостинодворской площади сюда бежал человек в офицерской форме, но без погон. Его догонял мужчина в штатской одежде, но с саблей и стрелял из револьвера.

– Стой! Стой! – кричал он и стрелял, но не попадал. Догоняя человека, он сунул револьвер в кобуру и, выхватив саблю, ударил того по голове. Кровь брызнула в стороны и попала Наташе в лицо. Человек упал, кровь хлынула из головы, заливая лужей мостовую.

Наташа едва выдралась из набежавшей толпы, пошла домой. Ноги её подкосились, она вошла в первую попавшуюся дверь. Это оказался штаб. Ей запомнилось, что в момент, когда хлынула кровь, ребёнок в животе забился так сильно, что ей было больно. Может, ребёнку в животе стало так же страшно, как и матери.

Горевавшую семью проведаль Гинецинский. Кирилл сидел в другой комнате и не показывался.

– Кирюша, Илья Григорьевич к нам пришёл.

– Мне-то что? – грубо отрезал Киря.

– Выйди, поздоровайся.

Киря приотворил дверь, показал голову, буркнул:

– Здорово, – и скрылся.

Наталия Ивановна, всхлипнув, прижала руки к груди.

– Вы уж, Илья Григорьевич, на него не обижайтесь.

– Что вы, что вы, – погладил её по плечу старый скрипач и педагог, – сочувствую вам и скорблю. Ведь такой талант. Ну, как говорят русские люди: Бог милостив.



Преподаватель побыл ещё с четверть часа, пожелал хозяевам доброго здоровья, выразил надежду на выздоровление Кирилла и ушёл.

Музыкальную школу Киря забросил. Квартира онемела, скрипка лежала на верху шифоньера в матерчатом футляре, заботливо сшитом матерью. Всем стало скучно.

Соседи уже знали, что посреди бела дня задорный и весёлый мальчишеский голосок не прокричит на всю квартиру:

– Передаём концерт по заявкам. Испанский композитор Пабло, что по-русски значит Павел, Сарасате, – и польётся музыка.

Вообще-то в коммунальных квартирах неудаче одного рады все. Кто открыто, кто втихомолку. Случай с Кирюшей был особым – бедного мальчика, взбалмошного, диковатого, как все подростки, но в целом незлобивого, отзывчивого и доброго, жалели все. Михаил Григорьевич вследствие столь единодушного соседского сострадания его горю, изменил своё мнение о русском народе. До этого он считал его самым скотским, самым ленивым, подлым и бессердечным народом в мире, но сейчас он задумался и признал, что в основном его наблюдения и суждения о родном народе, вне сомнения, верны, понеже опираются на жизненные наблюдения, подкреплённые горьким опытом, но всё же есть что-то в русском человеке такое, за что его можно простить, пожалеть. Может, народ не совсем сам виноват в том, что он такой.

В воскресенье после обеда Михаил Григорьевич отдыхал на пружинном, купленном на снятые со сберкнижки деньги диване, и задремал. Отворилась дверь, кто-то появился в комнате. Михаил Григорьевич хотел изругаться, (не дают отцу спокойно полежать) но сторожко расклеил ресницы и увидел, что Кирюша приставил к шифоньеру табуретку, снял футляр, вынул скрипку и, прижав к груди, долго смотрел в окно. Михаил Григорьевич ждал и молил об одном, хоть бы никто не вошёл в комнату. Но в комнату никто не вошёл, а сын не поднял смычок к струнам, поцеловал скрипку и положил её назад...



По окончании школы Кирилл работал в бригаде плотников, где было много движения, очень много свежего воздуха, но не было одного – счастья.

То лето выдалось очень жарким, иссушающе знойным. Пересохла река, так что у церкви Сретения её можно было перейти вброд, на лопухах, придорожной траве лежал слой сухой, прокалённой пыли, горели торфяники на Сокольской дороге, весь город был заполнен сизоватым дымом. Не было видно собак, они лежали в тени заборов, сараев, высунув красные языки, и тяжело, как больные-сердечники, дышали. Окна не закрывались на ночь, но и ночь не приносила отрады. Спалось урывками. Глядя на лунный свет пересекавший комнату, слыша равномерный стук ходиков, Михаил Григорьевич вспоминал, как сегодня днём они семьёй ходили фотографироваться в фотоателье на Каменном мосту.

Фотограф старый, лысый еврей с мокрыми, слюнявыми губами, блиставший своим мастерством здесь ещё до революции (правда, внутреннее убранство с того времени значительно подешевело), усадил всех перед громадным четырёхугольным ящиком фотоаппарата и только приготовился произнести сакраментальное: – Айн, цвай, драй, – как замер с поднятой рукой и противно засюсюкал:

– Боже мой, кого я вижу, кто посетил нас, молодой гений смычка, – он приблизился к Кирюше, – Какая честь, что вы посетили наше ателье. Каковы успехи?

Можно было подумать, что Арон Моисеевич, издевается, но Михаил Григорьевич знал, он говорит от чистого сердца, это его манера говорить.

Выход из неловкой ситуации нашёл сам Кирюша.

– Никаких успехов, – решительно сказал он, – Голова у меня стала бестолковая. Была толковая, вдруг задурила и стала бестолковая.

Эту манеру объяснять свою болезнь взросло – грубоватой интонацией с видом, что она к нему не относится, Кирюша приобрёл, когда получил свидетельство об инвалидности.



Михаил Григорьевич повернулся на правый бок, чтоб лунный свет не так бил в глаза, но заснуть не удавалось. С больно-го сына мысль скользнула на Родину. Не только Кирилл, Родина больна. Михаил Григорьевич едва не поднялся с кровати, чтобы выпить воды из графина. Никогда за всю свою жизнь не думал он о Родине, даже в августе 1914 года, когда с балкона Городской думы зачитывали Высочайший манифест о войне и площадь, рухнув на колени, запела «Боже, Царя храни», а потом «Спаси, Господи, люди Твоя».

Затем подумалось, что у Родины убили сына. А какой сын был у Родины? Что за вздор лезет в голову? Кому от этого легче, и что изменится от того, что старый бухгалтер в доме на Советском проспекте думает о Родине и о каком-то её сыне. Их у Родины много.

Михаил Григорьевич поднялся на подушке, с нежностью посмотрел на спящую жену. За окном послышались чьи-то шаги по тротуару, говор, негромкий смех.

А днём в двенадцать часов Вячеслав Михайлович Молотов, сказал, что началась война. Михаил Григорьевич по возрасту не подлежал призыву, Киря по инвалидности. У Ивана была броня, он работал на паровозе помощником машиниста...

Викторин Андреевич поднялся на балконе. Долгонько же он стоял тут. Успеть бы записать хоть не всё, но главные пункты. На цыпочках, чтобы не разбудить никого, он прошёл в кабинет и включил настольную лампу.

XII

Девушка у Пети была, недаром Анна Григорьевна ввела парня в краску.

С Валея Петя познакомился при обстоятельствах, скорее грустных с его точки зрения, чем смешных. С детства избегавший большого скопления людей, воспитанный на классической музыке и советской песне, он не переносил насаж-



давшихся в школе дискотек. Классная руководительница выговаривала его матери:

– Светлана Владимировна, почему ваш Петя отрывается от жизни класса, игнорирует посещение школьной дискотеки и дерзит учителю?

– Каким образом? – спросила Светлана Владимировна.

– Понимаете, с вызовом говорит мне, – лицо учительницы приняло кисло-ироничное выражение, – Я сам хозяин своего свободного времени. И ногу выставил. Правую. Нет, левую.

Светлана Владимировна чуть не прыснула смехом, так учительница точно изобразила лицо её Петьки, когда ему надо-едают.

– А вам самой нравится дискотека, в частности, музыка на ней?

– Терпеть не могу, – откровенно, как подруге, призналась она. – Верите, с души воротит.

– А Петра принуждаете.

– Нам спущена директива из министерства по этому поводу.

– Так это министерство насаждает среди детей эту мерзость? – воскликнула Петина мать.

– Как вы смеете так говорить о министерстве, там сидят умнейшие люди, – распалившаяся учительница клеймила Светлану Владимировну в обскурантизме, ретроградстве, отсталости.

Петя, проходя мимо спортзала, где проводилась дискотека, зажимал уши, а в тот день рискнул зайти и чуть не вылетел в дверь обратно из-за лавины звуков, обрушившихся на него, оглушительного, запредельного ритма, как кувалдой, долбившего по голове.

В полусумраке под потолком зала крутился зеркальный шар, бросавший разноцветные блики на толпу парней и девушек, среди которых были и его одноклассники, лиц он не узнавал). В цветных лучах прожекторов курился белёсый дым. И всюду был разрывающий ушные перепонки громовой ритмичный шум, он был справа и слева, сверху и внизу, он был в тебе. Над толпой, как водоросли, колыхались руки.



Петя увидел Валью. У стены стояла девочка. Она смотрела перед собой отсутствующим взглядом. Он подошёл к ней. Как сказать: «Пойдём, потанцуем?», но это мало походило на танец, «Пойдём потрясёмся?» Это было смешно. И он сказал «Пойдём, попрыгаем». – Это тоже было смешно, но девочка улыбнулась и шагнула к нему.

Потом они бродили по городу, возле Успенского собора на берегу, у вечного огня, в Предтеченском сквере.

Сегодня они договорились идти в библиотеку.

Они поднимались по лестнице. Между правым и левым маршем читателей встречала большая, выше человеческого роста статуя И. Бабушкина.

– Я почему-то его боюсь, – прижимаясь к руке Пети, прошептала Валья.

– Чего ты боишься, глупая.

– Что он скажет: двойки исправлять когда будешь? Да как даст мне щелбана по лбу.

– А у тебя их много?

– Ни одной.

– Так чего же он спрашивать будет?

– Не знаю. Он такой здоровенный.

– Здоровенный. Я его один поднять могу.

– Врёшь.

– Он же из папье-маше, внутри весь пустой. И в прямом, и в переносном смысле.

– Здравствуйте, молодые люди.

У балюстрады на второй этаж, рядом с постом контроля, на них с улыбкой смотрела пожилая, но не старая женщина с янтарным ожерельем на груди и длинными волнистыми волосами, перевязанными алой лентой.

– Здравствуйте, Нелли Николаевна, – сдавая в гардероб спортивную сумку, поздоровался Петя.

– Пётр, ты какой большой вырос. Настоящий кавалер. Как дедушка?

– Живёт, процветает, – желая показать Вале, что он знаком с таким человеком, сказал Петя.



– Даже процветает, – повторила женщина, смеясь. – Передавай ему привет.

– Спасибо. Передам обязательно.

– Кто это? – спросила Валя, когда женщина свернула направо, отправляясь в канцелярию.

– Директор библиотеки.

– Этой, областной библиотеки?

– А какой ещё? Этой, областной.

– Ну, Петька, ты меня поражаешь. Кого ты только не знаешь. А откуда она деда твоего знает?

– Они в первой школе, в одном классе учились.

– Так она и тебя давно знает?

– Да, наверно, с рождения.

Пете учительница литературы поручила сделать доклад о военной теме в творчестве Высоцкого. Без библиотеки не обойтись.

Занимаясь в читальном зале, Валя временами пристально смотрела на Петю и вдруг прижимала ладонь ко рту.

– Ты чего? – когда она сделала так третий или четвёртый раз, спросил Петя.

– Я представила себе, что тебе четыре или пять лет, ты сидишь тут за столом, а директор библиотеки учит тебя читать, гладит по голове и говорит, – Валя с важным лицом сунула язык под нижнюю губу и прошамкала. – Учись, Пётр. Вырастешь умный мальчик.

Валя, смешившая саму себя, тихо захохотала. Не удержался и Петя.

– Молодые люди, – обернулся мужчина за столом впереди, – Вы не могли бы пойти в цирк и там смеяться? Вы мешаете заниматься.

– Молчи, злюка-закорюка, – пустила ему в спину Валя струю шёпота, и сказала это так забавно, что Петя, не в силах удержать смех, бросился из зала.

– Пошли пить кофе, – предложила Валя, выбежавшая за ним.

Сегодня им обоим попала смешинка в рот. Напившись кофе, они вернулись в зал, но заниматься не смогли, всё их сме-



шило, забавляло, и, сдав книги, они из библиотеки отправились слоняться по городу.

В половине пятого вечера, погуляв по городу и вдоволь насмеявшись, они пришли на стадион «Динамо». У Пети была тренировка.

С детских лет он хорошо бегал и прыгал, успешно преодолевал 400-метровку, хорошо у него шли прыжки в длину. Тренеры видели в нём надежду Тиховодской легкой атлетики. Уже подростком он бегал и прыгал на взрослые разряды, но вдруг забросил всё и увлёкся метанием копья. В спортивной передаче он увидел метавшего копьё Яниса Лусиса и это решило его спортивную судьбу. Вспомнился «Дорифор»⁴ Поликлета, фильм «Даки», где легат Фуск мечет копьё в цель, фильм «Викинги», многое, что вспомнилось. В Древней Греции копьё вообще было главным оружием боя.

Не обладая должной техникой, Петя на силу метнул копьё сразу на второй разряд. Тренеру не нужно было говорить, что в его руках спортивное сокровище. Главное умело использовать его.

Пока все переодевались в помещении под трибуной, Валя, присев на трубчатый заборчик, отгораживавший футбольное поле и дорожки от тротуаров, оглядывала знакомый стадион: зелёную футбольную поляну, секторы для прыжков. В глубине синего бездонного неба вились, чертили свои замысловатые полёты ласточки, на углу стадиона виднелось неряшливое, давно не отремонтированное здание церкви.

Переодевшись, ребята – парни и девушки – вышли на беговую дорожку, началась общая разминка. Сделав четыре круга по стадиону, все разошлись по своим местам, прыгуны в свой сектор, метатели в свой, а бегуны остались на дорожке.

Валя перешла поближе к метателям, села на нижний ряд трибун. Петя делал упражнения на растяжение мышц, бегал по дорожке без копья, отрабатывая разбег, затем взял копьё, шёл к месту разбега, смотрел на Валью, потрясая копьём, как воин, идущий на бой.

⁴ Дорифор – копьеметатель (греч.).



Валя любовалась им, его красивой головой, широкими плечами, мускулистыми руками и ногами, тем, как ветер отдувал на висках его светло-русые волосы.

Петя был высокого роста, значительно выше своих сверстников. В теле его уже пропала, изжилась, подростковая угловатость, нескладность, всё явственней в скелете, мышечном уборе проявлялись контуры будущего мужчины. Стройного, гибкого, с сухими, без намёка на склонность к ожирению, длинными мышцами. Юноши такой телесной конституции – мечта любого тренера, они обладают завидной реакцией, выносливы, способны к обучению. Им не нужно долго и упорно растолковывать суть какого-либо движения, показывать его, они всё схватывают на лету. Это прирождённые спортсмены.

Петя прошёл в начало дорожки для разбега, переступил несколько раз с ноги на ногу, подбросил в руке копьё, ловя его в воздухе, и помчался вперёд, отгибаясь назад, словно желая придать телу форму натянутого лука. Одновременно с этим он заводил руку с копьём за спину, между лопаток, чтобы копьё вылетело из руки как раз посередине головы. В конце разбега, на последних шагах он перекинул ногами крест – накрест, ещё мгновение и длинная серебристая игла взмыла в небо и, пролетев чуть не всё футбольное поле, вонзилась в землю. Петя вместе с тренером побежали за копьём и, вернувшись назад о чём-то начали спорить. Валя не понимала: в чём дело? Всё было так красиво. Это характер у Петьки такой, нужно обязательно с кем-нибудь спорить. А кто больше понимает в метании копья: Петька или тренер?

А Петя отправился снова в начало дорожки для разбега, и снова, и снова серебристая игла взмывала и летела под высоким, выпуклым небосводом.

В конце тренировки все шли в раздевалку. Валя шла сзади, видела тёмную полосу пота между лопаток на майке Пети.

– Молодец, Пётр, – говорил тренер. – Если всё будет хорошо, и ты будешь слушаться, на областных соревнованиях сделаешь первый разряд. А, может, замахнёмся и на кандидата.



Валя, преисполненная гордости за Петю, не отставала ни на шаг.

– Ну, конечно, с такой поддержкой можно и горы свернуть. Тренер кивнул назад головой.

Петя обернулся, с улыбкой подмигнул засмущавшейся Вале.

– Вот, Пётр, – сказал тренер, – каков ход истории. – В двадцатые годы с твоим результатом ты был бы чемпионом СССР, а сейчас всего лишь тянешь на первый разряд.

– Всеволод Сергеевич, – спросил Петя, – а вы с самим Лусисом⁵ встречались?

– Да, конечно, – ответил тренер, – не только встречался, но и разговаривал. Это было в восьмидесятые годы. Приехали мы в Ригу...

Петя с тренером скрылись за дверью раздевалки.

Меньше месяца назад Петя прочитал латышский эпос А. Пумпура, и думал, что Янис Лусис должен быть похож на Лачплесиса, молодой, высокий, могучий и благородный.

XIII

В ближайшую субботу, позавтракав, Роман взял Сашу и они поехали в Прилуки. Неподалеку от недавно открывшегося мужского монастыря Церкви вернули заброшенный храм святителя Николая. Как водится храм, отобранный у Церкви лет семьдесят назад, вполне благополучным, вернули, как значилось в документах, в руинированном состоянии, а по-русски, полуразрушенным, в развалинах по пословице: на тебе, Боже, что нам негоже.

По всей Руси стоят они, брошенные, как сироты. Некогда украшавшие местность, дома молитвы, дома утешения, дома проповеди Христовой, в которых жили милосердие и любовь. А ныне в окнах ни одного стекла, железо на кровлях проржавело до тоньшины папиросной бумаги, можно руками рвать, в довершение всего в своде трапезной зияла громадная ды-

⁵ Лусис Янис Волдемарович – олимпийский чемпион, копьеметатель



ра, около двадцати квадратных метров. Ответа нет: от старости ли и небрежения обрушился свод, или его продырявили нарочно, да если и нашёлся бы ответчик, какой с него спрос.

Прежде, чем приступить к восстановительным работам, из храма нужно вынести мусор, рассортировать громадную кучу кирпичей посреди трапезной, убрать накопившийся за десятилетия возле стен, культурный или, правильней сказать, бескультурный слой.

Вадим, Роман, художник Николай, Константин Николаевич из рабочих с окладистой седой, купеческой, как он говорил, бородой, две женщины, прихожанки из кафедрального собора, сотрудница краеведческого музея и руководитель коллектива Анна. Собирались около девяти часов, работали до полудня, затем пили чай, снова работали до двух дня. По евангельской притче приходили работники и последнего часа, около одиннадцати.

Работа спорилась.

Роман втыкал штыковую лопату в слежавшийся грунт, нагружал носилки, и вместе с художником Николаем они относили их к колокольне, где росла гряда, которую погрузит потом в кузов самосвала колёсный трактор. Городской грунт, неподатливый для копки, трудный; в грунте попадались бумага, стёкла, обрывки верёвок, куски ржавого железа, не копаешь, а ковыряешься.

Саша, сначала смотревший как работают взрослые, попросил дать работу и ему: относил в отдельную кучку половинки кирпичей, а когда устал, то отыскивал кирпичи с надписями и складывал их у стены.

В грунте то и дело попадались пустые бутылки, чаще поллитровки, случалось, и чikuшки. Их было так много, что Роман в минуту перекура сказал:

– Если бы археологи, допустим, лет через сто, занимались раскопками, то они непременно сделали бы вывод, что русские попы были отъявленными пьяницами, откуда иначе взяться этакой прорве пустых бутылок.

– Да, да, – подхватил художник Николай, – у нас один краевед выпустил книжку. В одном из очерков он пишет о При-



луцком монастыре. И с торжеством возвещает, что, когда ремонтировали в покоях настоятеля полы, то под досками нашли куриную кость. У него сработала привычная мысль: монахи всё врут о монашеском воздержании: настоятель куриц жрал. А не задуматься над элементарным фактом: монастырь-то больше шести десятков лет не принадлежал Церкви и неизвестно, что находилось в покоях настоятеля. Кто тут жил, ел и пил.

– Или чем другим зани...

– Тсс, – остановил его Роман, указав взглядом на подошедшего Сашу.

– Уже привычка выработалась: о Церкви надо обязательно гадость какую-нибудь сказать. И ведь чего только не размещали в церквях, как только не кошунствовали над ними.

– Склады и всякого рода мастерские, общежития для переселенцев из Украины. Сколько их несчастных было сюда выселено, мужчины, женщины и дети. Высадят на вокзале, а потом ведут в монастырь, пересыльная тюрьма была в монастыре. Мне бабушка рассказывала, вели-то их не через город, а окраинами. Потому, что как ни препятствовал конвой, всё равно им чего-нибудь подавали.

– Вот он сталинизм, – сказал женщина из собора.

– А при чём тут сталинизм? – возразил Вадим. – Коллективизация была объективным процессом, она не была капризом Сталина, он вынужден был проводить её.

– Ой, хватит из него государственного деятеля строить. Убийца он, убийца и есть.

– Хорош убийца, – пробормотал Иван, – из нищего государства создал вторую державу мира.

– А что нам от этой второй державы, какой толк, сколько он народа угробил.

– А тот толк, что если б не он, и тебя бы не было.

– Господа Бога-то не делайте из него.

Работа остановилась, каждый захотел поспорить.

– Трагедия. Ему за стеной Кремлёвской сидючи легко о трагедии рассуждать. А то бы тебя с женой, да с малыми детьми выкинули в тайгу.



– А в нашей Покровской церкви призывной пункт был, – желая сгладить разговор, вступила Анна – а до него артель «Венстул», делали мебель гнутую, сейчас только в музее и увидишь, а тогда она была модной. У дедушки моего, – поговорка была: «Борец Бамбула, поднимает три венских стула».

Все засмеялись.

– Ну ладно, не ласы точить мы с вами собрались, давайте работать, – сказал Роман.

– Действительно, – сказал Вадим, – как в анекдоте. Соберутся два англичанина – заключают пари, соберутся два еврея – образуют скрипичный ансамбль, а два русских – спор.

– Я подумал, – усмехнулся в бороду Иван, – за бутылкой побегут. Недаром говорят: без бутылки не разберёшься.

И снова накладывался грунт на носилки и высыпался на вершину кучи. У стены рос куст ивы.

– В понедельник «Белорус» его тросом зацепит и вытащит.

– Зачем нам «Белоруса» ждать, – сказал Иван. – Его наймут для другой работы, – он взмахнул топором, обрубая корни у стены. – Эх, куда корни запустила, под самую кладку, – топор скрежетнул по кирпичу, ещё раз.

– Какой неприятный звук.

– Противней только гвоздём по стеклу.

В монастыре ударили в колокол. Звук красиво стелился над обителью, селом, рекой, окрестными лугами, церковью Дмитрия Солунского в Слободе на другом берегу.

– А ведь в советское время, – сказал Вадим, – выросли поколения людей, никогда не слышавших колокольного звона.

– Это факт, – в тон сказал Роман, и они рассмеялись.

– Хотя ничего смешного в этом нет, – подытожил Вадим.

В углу трапезной из досок соорудили стол, на котором пили чай, ставили термосы, раскладывали бутерброды.

За чаем одна женщина сказала Вадиму:

– Никогда бы не подумала, что Вы сталинист. Молодой умный и, – она замялась, – симпатичный. И на восстановлении церкви работаете.

Вадим засмеялся.



– А вы, видимо, представляете себе сталиниста негром с берегов Конго, людоедом? Не люблю я ярлыков, сталинист, националист, шовинист. Я историк, моя задача строить историческую картину на основе фактов. А факты таковы, что крестьяне, получив после революции землю, обрабатывали её, исходя из личных интересов, а на продажу вывозили очень мало. Государство им дало землю, а государству от крестьян отдачи почти не было. А ему надо рабочий класс кормить, армию содержать, государственный аппарат, а хлеба нет. А Сталин, оцените предвидение, в 1931 году сказал, что если мы не построим за десять лет индустриальное государство, нас сомнут. Вы знаете, что будет с вами через десять лет? Не знаете, а он предвидел. Война будущего – война моторов, танков, самолётов. Надо было создавать новую промышленность, но на что купишь станки, оборудование для заводов? На валюту. Всё упиралось в нехватку хлеба, чтоб за него получить валюту. Хлеб можно было получить, освободившись от крестьянской зависимости, только перестроив сельское хозяйство на промышленной основе, снабдив село тракторами и прочей техникой. Вообще во всех странах сельское хозяйство создавалось за счёт принуждения. В Англии, чтобы загнать людей на заводы, силой сгоняли с земли. Люди нищенствовали, а нищих тысячами вешали. Перед людьми стоял выбор: или смерть от петли палача или работа на заводе. У нас вешали? Нет. У нас противников колхозов высылали, людям давалась возможность выжить. Ни одному английскому королю не ставят в счёт повешенных крестьян, а Сталину каждое лыко в строку. Как человек государственный, он понимал, что придётся прибегнуть к насилию, люди будут страдать, погибать. Коллективизация была трагедией не только для части крестьян (при чём меньшей), но и трагедией для Сталина. А что я на церкви работаю, так ведь Сталина сам Святейший Патриарх Алексий отпевал.

– Не может быть, – возразила женщина и даже руками перед лицом замахала. – Не верю, чтобы в Англии вешали людей. Это же культурная страна.



– Вот у нас всегда так: не верю и всё тут. Англия – культурная страна, а вы Диккенса почитайте. Или вообразили себе Америку раем на земле, а там ещё в нашем столетии негров, как собак, на деревьях по суду Линча вешали.

Вадим и женщина продолжали разговор, он приводил множество фактов, которые обрисовывали Сталина как политика, военачальника, дипломата, женщина продолжала возражать ему, но Вадим говорил убедительно, а она никак не могла поверить, что учитель в самом деле не сталинист, а говорит о Сталине как сторонний наблюдатель, не испытывает к нему ни любви, ни ненависти.

Роман послушал бы ещё, но хватился: где же сын? Саша, утомившись от работы, заснул прямо на лужайке. Роман, постелив на землю куртку, перенёс его в тень под куст сирени, побродил по кладбищу

Это деревенское кладбище производило на Романа необыкновенное впечатление. Тишина, народу почти никого, не то, что на общегородском кладбище на Пошехонке, там всё время толпится народ. Должно быть из-за уединённости и тишины, здесь и птицы почти не пели, и мысли возникали не кладбищенские, не о том, что все мы погрём. Вид спящего на кладбище Саши поворачивал чувства в иное русло. Странно, но кладбище родило в душе возвышающие чувства, говорило о бессмертии армии, государства, самой Руси. Думалось о смене поколений, о том, что поколения шагают в историческом строю, как солдаты в армии. Сменяются годы призывов, но армия, полк, в котором ты служил, жив. Конечно, ты уже не пробежишь, как в былые годы стометровку, не пропадёшь, как лось, по полосе препятствий, но ты солдат до своего последнего дня.

Между могил мелькнула фигура Вадима.

– Задолбали вас тётки? – спросил Роман. – Сбежали от них?

– Нет, что вы, я рад общению с ними. Профессия такая – учить людей. Но говорить с ними очень трудно. В головах у этих, как вы называете, тёток, сплошной мрак. Каша в голове касательно советской истории. Солженицын с Радзинским,



братья Медведевы и Волкогонов потрудились капитально, семена чертополоха посеяли в людские души основательно. Работа предстоит большая. Волкогонов как-то признавался, что перед ними стояла одна задача вылить на советский период как можно больше грязи. И они выливали, ведь за это платили, давали чины, должности. У людей создали представление о советском периоде, как о чёрной дыре. Но не может жить общество с сознанием в душе, что в прошлом всё была чернота. Людям свойственно движение вперёд, к лучшему. А как оттолкнёшься от прошлого, какую отыщешь в нём опору, если ничего кроме мрака в нём не было. Простите, я по привычке принимаю лекционный тон.

– Я вот по кладбищу гуляю, – сказал Роман, не желавший терять настроение, которое пробудили в нём новые мысли.

– А я не люблю кладбищенских прогулок, кладбищенской, слезливой поэзии и тому подобного.

– Но есть другие чувства, которые вызывает вид кладбища. Видимо, о них писал Пушкин в своём знаменитом стихотворении:

Два чувства равно близки нам,
В них обретает сердце пищу.
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Поэтому кладбища надо беречь, как святыню. Да и Пушкин потом говорит о животворящей святыне.

– Роман, – по-дружески положив руку ему на плечо, сказал Вадим, – я хочу тебе сообщить, что у нас в Тиходонске скоро одной святыней станет меньше. В горисполкоме принято решение о сносе Богородского кладбища.

– Как! – вскрикнул Роман и чуть было не повторил возглас женщины «Не может быть». – Но теперь не тридцатые годы, надо протестовать, настаивать, чтобы решение было отменено.

– Решение не подлежит огласке, чтобы не вызвать лишнего шума. Я сказал тебе, потому что вдруг почувствовал симпатию к тебе, когда ты Пушкина цитировал.



- Надо пойти к председателю горисполкома, убедить его.
- Нашего Ломакина? Убедить? Сходи, убеди бульдозер.
- Я пойду к нему.
- Так тебя и пустят, к нему за месяц записываться на приём нужно, а за это время многое может случиться.
- Нет, я пойду, я добьюсь.
- Но ты меня не выдай. - Вадим в душе раскаивался, что доверил эту служебную тайну, может, и не тайну, но ведомственный секрет.
- Не беспокойся. Будь спокоен.

Вернувшись домой, Роман наносил с колонки воды для стирки, когда все улеглись спать, посидел над рассказом. В тишине ночи, присев на край койки он задумался, склонил голову на ладонь.

Вечереет, солнце садилось за крыши домов, обливая окна, стены домов багряным, пожарным цветом, слышнее стали запахи травяной поросли, крапивы, лопухов, а он решил доехать до кладбища, навестить могилы отца и матери. Сел на автобус, приехал. Идёт по кладбищу, но не может найти знакомых, до которых идти совсем близко, могил. Он сворачивает из одной аллеи в другую, расчертивших кладбище на квадраты, но могил нет.. Всюду по аллеям гряды и клумбы цветов, всё кладбище преобразилось в огромный цветник. Синие, сиреневые, жёлтые, красные цветы, а гряды длинные, метров по двадцать в длину и метра по три-четыре в ширину. Между гряд густые, раскидистые цветочные кусты шиповника, отовсюду веет аромат, сладкий, одуряющий, от которого кружится голова, радостно и грустно на сердце от него. Левкои, резеда, гладиолусы, тюльпаны, астры, пионы, но здесь же и полевые цветы: ромашка, клевер, гвоздика. С цветка на цветок порхают целые эскадрильи бабочек. Не примечательные капустницы мерцают ниже к земле, важно прячут махаоны, адмиралы и траурницы. Роман догадался, что он спит, но сон был так явственно реален, так детально ярок, так вокруг него дышало ароматом чистых цветов, так вились и реяли в воздухе бабочки, что он



глубже и глубже отдавался сну, тонул в нём и знал, что больше он не испытает этой радости глубины никогда. Он заблудился, не может вспомнить в какой стороне город, вокруг него поля, заросли высоких кустов. Он перешёл луг, выбежал к неширокой реке, нужно где-то её перейти. Он бежит по берегу, песчаные отмели так красивы, так чиста и светла вода в реке, так зелены луга, что ему счастливо от этой красоты. И бежится, и дышится легко... Впереди церковь с высоким алтарём, когда-то белая, а сейчас вся побелка осыпалась и всюду виднеется кирпичная кладка. Надо зайти, хоть свечку поставить. Из церкви выходит священник, с посохом, в высоком чёрном куколе с мантией. Но тут сон смешался.

Сны, как правило, забывались, таяли, как облачко в летний день, но этот сон с процветшим кладбищем, с дивным ароматом цветов, красной церковью и какой-то потусторонней радостью помнился несколько дней.

XIV

Однажды Ширкову в газету пришло письмо от читательницы. Она писала, что на колокольне Успенского собора висит большой трёхсотпудовый колокол, а язык его на четыре стороны привязан ржавыми проволоками, как распят. Хотелось бы услышать звон колоколов. В музей направили корреспондента с редакционным заданием. Он дал на газетном жаргоне информашку. А на неё неожиданно пришло много откликов. Один из читателей, ветеран войны, кавалер ордена Славы 3-й степени, не поленился, обошёл дома в округе под письмом-просьбой, чтобы в Тиховодске зазвучали колокола, и собрал 906 подписей. Налицо была народная инициатива.

Вопрос можно было решить только в горкоме партии. Письмо с подписями послали туда. Чтобы не связываться с почтой, за ответом на него в горком Ширков пошёл сам.

Ширков бывал там многократно (на разные инструктажи в отделе пропаганды и агитации, и столовая здесь была дешё-



вая и, главное, без очередей), но в кабинете первого секретаря не бывал ни разу.

Чрезвычайно занятой первый секретарь, Плешков Алексей Николаевич назначил Ширкову время приёма – 19.00. Рабочий день заканчивался в 17 часов. Ширков даже пожалел первого секретаря: когда работники аппарата горкома расходились по домам, секретарь оставался в кабинете, а к восьми утра уже надо быть на работе.

На лифте Ширков поднялся на пятый этаж. Шагая по безлюдному коридору, он размышлял о том, чем окончится его визит: скорее всего отказом, но не угадал.

В приёмной никого не было, более того: дверь в кабинет была открыта, и за письменным столом виднелась внушительная фигура что-то писавшего первого секретаря.

Это был выше среднего роста, приятной наружности мужчина средних лет, с тяжёлыми чертами полного лица. Он производил впечатление борца тяжеловеса. Дети своих сверстников такой комплекции обычно дразнят мясокомбинатом или жиртрестом, а люди взрослые называют таких людей представительными, хотя толщина телес не всегда говорит о представительности. Бывают люди комплекции худощавой, но кто бы сказал о них, что они непредставительны. О Плешкове отзываются как о человеке неукротимой энергии, нрава пробоивного, умеющего добиться поставленной перед ним цели.

Рассчитывая на эту черту характера, и надеялся Ширков, входя в кабинет.

– Здравствуйте, Алексей Николаевич, – поздоровался он, входя в кабинет.

– Добрый день, Владимир Леонидович. Рад видеть.

Эти дежурные приветствия и ответы на них вдруг сегодня резанули Ширкова по сердцу. Понимая, о чём он пришёл просить у Плешкова, он с особой остротой почуял какие они разные люди. Хотя и коммунисты оба. С определённого времени в некогда монолитной КПСС образовались две партии. Партия тех, о ком он пишет: о рабочих, крестьянах, солдатах, студентах, его партия; и партия Плешковых. Партия ездящих



на автомобилях с особой серией номеров, питающихся в особых магазинах, лечащихся в спецбольницах. И дело не в самих машинах, магазинах, больницах и квартирах, дело в разных людях. Надежда у Ширкова была на призрачное. Вдруг такой смешной в наше время аргумент «но вы же русский» воздействует на секретаря.

Мрачные, недоверчивые мысли Ширкова Плешков тут же развеял.

– Я прочитал Ваше письмо, Владимир Леонидович, – радужно начал он, – поэтому не нужно мне ничего рассказывать, суть вопроса мне ясна.

Ширков, было приготовившийся уже не в первый раз объяснять, о чём они просят, с благодарностью посмотрел на него.

– Знаете, Владимир Леонидович, Ваша идея и идея Ваших единомышленников мне глубоко симпатична. Я от всей души сочувствую Вам. Можете записывать меня в члены вашей колокольной дружины. (Сердце Ширкова радостно ужалось). Вы знаете, я родом не местный или как говорят простые люди – не тутошний. В тех краях, откуда я родом, есть действующий монастырь. Однажды утром я вышел из дома. Вставало солнце, над берегом курился туман, – лицо Плешкова стало светлей, взор его простёрся куда-то вдаль, он провёл в воздухе тремя, собранными в щепоть пальцами, как бы сдвигая мешавшую ему смотреть занавеску, и повествовал, – а в монастыре зазвонили к службе. Колокольный звон растянулся над берегом, над долиной реки невидимым покрывалом – Плешков тряхнул головой, будто прогоняя видение. – Так что я отлично понимаю значение колокольного звона. Но. Но, но, но. Есть существенное затруднение. В нашей стране долго велась атеистическая пропаганда. Партия и сейчас не снимает совсем с повестки дня её задачи. Таким образом, Ваш вопрос и вопрос Ваших единомышленников получает нежелательную идеологическую окраску. Как это мы, во главе с горкомом партии, я не отрекаюсь от своих слов, ударим в колокола? Чтобы там ни говорили, колокола большинством населения ассоциируются с церковью. Что подумают про-



стые, необразованные люди. Народ нас не поймёт. Давайте мы с Вами поступим так...

«Откуда взялся народ необразованный, – растерянно подумал Ширков. – В школах обязательное среднее образование. У всех, как минимум, семь классов за плечами».

– Мы с вами поступим следующим образом, – говорил Плешков. – Я завтра еду на завод «Северный коммунар», у меня встреча с рабочим коллективом. Среди прочих вопросов я подниму и Ваш. Вообще, я поезжу по городу, спрашиваю людей. Как народ решит, так мы и поступим. Если народ выскажется за то, чтобы колокольному звону быть, ударим в колокола. А если выскажется против, что ж, придётся отложить вопрос, народ ещё не готов, надо будет людей готовить. Пойдёт, согласны с моим предложением?

Плешков встал за столом, протягивая Ширкову руку.

Ширков с облегчённой душой, вспоминая в мелочах состоявшийся разговор, вышел из здания горкома. Счастливо улыбаясь, он остановился у большой клумбы, разбитой на месте городской святыни, церкви, срубленной согласно преданию, за одну ночь, потом ставшей каменным собором, который был снесён при Ломакине...

И вдруг с проснувшимся в душе чувством распознавания правды он понял, что секретарь элементарно водил его вокруг носа, играл с ним, как с доверчивым ребёнком, нагло врал. Как ты мог забыть привычку обкомовцев всё сваливать на народ? Если не давалось решение какой-то проблемы, отговорка была рядом, за нею не нужно лазить в карман: народ не поймёт или народ не готов. Чтобы убедиться в своей догадке, он позвонил на другой день в приёмную и спросил у секретарши, когда сегодня Плешков поедет на завод «Северный коммунар». Секретарша ответила, что Алексей Николаевич уже утром уехал в Чугуновск и пробудет там два дня.

Тогда он перезвонил знакомому токарю на завод, члену заводского партбюро. Он сказал, что впервые слышит о приезде Плешкова.

Владимир Степанович Животов как обычно в 8 утра переступил порог областного управления КГБ.

– Товарищ полковник, – остановил его дежурный прапорщик на посту в вестибюле, – можно задать вопрос?

– Я вас слушаю, Захарченко.

– Скажите, товарищ полковник, что известно о результатах расследования по поводу, – он замялся, – ну могилу-то за городом нашли.

– А что вас так интересует?

– Знакомые, друзья спрашивают.

– Вы что же, товарищ прапорщик, с друзьями, знакомыми о делах службы разговариваете?

Прапорщик понял, что дал маху, а хотел показать активность свою, покраснел.

– Простите товарищ полковник, я не подумал, спросил.

– Вы не ребёнок, чтоб говорить, не подумав. Делаю вам замечание, принимая во внимание, что вы служите недавно. И не на овощной базе, прошу заметить.

Захарченко до поступления на службу играл в волейбол за столичное «Динамо», входил в число кандидатов в сборную республики. Он был спец пробивать блоки. Кличка «таран». Спортивная карьера не вечна. Нужно было искать место в жизни. Играть до седых волос, спускаясь в команды ниже классом, было бессмысленно. Тренерского дара не было. Он подал рапорт, анкета у него была чистая, его устроили сверхсрочником в областной КГБ. Если мозги не проиграл и не пропил на бесконечных сборах и разъездах с турнира на турнир, есть шанс стать офицером.

– Расследование подходит к концу, – говорил ему Животов, – скоро будет опубликовано официальное заключение, с которым ознакомят аппарат управления, подготовят заявление для прессы. Могу вам сказать, не для разглашения друзьям, что дело не соответствует той шумихе, которая поднята в прессе вокруг этой находки. Продолжайте нести службу.



– Есть, товарищ полковник, – откозырял дежурный.

В 10 утра у начальника проходила планёрка. Обсудив текущие дела, данные по оперативной обстановке (на металлургическом комбинате в завершающую фазу входила операция по выявлению предателя, передающего американской разведке секретную информацию), отпустив всех, генерал Чучков попросил остаться Животова.

Генерал уходил в отпуск, дал на время отпуска несколько поручений, и спросил:

– Ну как, Владимир Степанович, идёт прослушивание фокстротцев?

Животов внутренне напрягся: генералу могло стать неприятно, что записи из ЧК прослушивали чужие, не комитетские люди, и ответил неопределённо:

– Есть кое-что заслуживающее внимания.

Начальник управления почуял, что Животов чего-то не договаривает, таит.

– Это всё? – спросил он.

Животов сразу понял, что начальник один из лучших аналитиков не только в области, но и в республике, с его сверхъестественным нюхом на неправду, добывается конкретности, солгать ему невозможно. Да он и не вправе лгать ему. Начальник и так пошёл против правил, разрешив ему взять материалы из архива.

– Понимаете, Василий Фёдорович, никаких фокстротов на пластинках нет, и вообще никакой музыки.

Он вкратце рассказал ему о впечатлении, которое производит запись на пластинке.

– Надо же, – неоднократно возгласами прерывал генерал его рассказ. И потребовал, чтобы пластинки были принесены в управление. – Я сам хочу это слышать.

– Но на чём мы будем их прослушивать, товарищ генерал? В управлении нет проигрывателя на семьдесят восемь оборотов.

– Неужели нет? – генерал вызвал секретаря. – Пусть Кушкин зайдёт.



Начальник административно хозяйственного отдела, майор в отставке Кукушкин по прозвищу «Плюшкин» слыл в управлении отчаянным скопидомом, собиравшим и хранившим у себя на складе всякую рухлядь. Помимо старых печатей, штампов, образцов старой бумаги, пишущих машинок со шрифтами как довоенных, так и послевоенных образцов, хранившихся с целью возможного оперативного использования (можно изготовить такой документ за тридцатые годы, что никакая экспертиза не придерётся), чего-чего только не было у него на складе.

– Звали, товарищ генерал? – небольшого ростика, сухой, с видом человека не от мира сего, спросил явившийся Кукушкин.

– Вениамин Петрович, – спросил генерал, – в твоих залежах полезных ископаемых случайно нет патефона или какого-либо проигрывателя на семьдесят восемь оборотов

– Ага! – воскликнул Кукушкин и два сердца вздрогнули одновременно: Чучкова, что прослушать пластинки можно в управлении, и сердце Животова, что их придётся возвращать.

– Ага! – повторил Кукушкин. В голосе читались нотки мстительного торжества. – Говорил я, а меня не послушались.

Проигрыватель был, старый, дореволюционный граммофон с такой громадной трубой, что в неё можно было засунуть голову. Некогда он украшал гостиную какого-то зажиточного купчины. Бывший начальник управления Табаков при очередной ревизии имущества приказал списать граммофон, но не выкидывать, а передать в краеведческий музей, в экспозицию большевиков в местной ссылке. Кукушкин граммофон списал, однако в музей не сдал, пусть у нас лежит. Но он не действует, у него несколько лет назад лопнула пружина.

– Так на кой ляд ты его хранишь? – спросил Чучков.

– А ежели начальство спросит, есть или нет, вот, в наличии.

– Свободен. Недаром тебя Плюшкиным кличут, Плюшкин ты и есть.

– Надо бы, Василий Фёдорович, в архиве приговор поискать, – сказал Животов.



– Зачем? Не реабилитировать же их, врагов советской власти, раз сам Феликс Эдмундович приказ послал. Или ты в белых перекрасился? Сейчас модно в них краситься.

– Ни в кого я не перекрашивался, но хоть фамилии, имена узнаем, хоронить же их теперь придётся.

– Поищи, поищи, только ведь приговора могло и не быть. Не зря историки именуют такие дела внесудебными репрессиями. А коль вне суда, так документы по боку. Вызвали из камеры, порешили, и концы в воду. Кстати, мы с тобой с того ещё лета на рыбалку собирались. Ты как?

– Я только – за.

– Вот и чудненько. А пластинки послушать я к тебе домой приду. Пустишь?

Владимир Степанович не успел ответить, в кабинет вошла секретарь, тонкая девушка в звании младшего лейтенанта.

– Почта, товарищ генерал, – она положила на угол стола стопку газет, – Местную посмотрите.

– Спасибо. Зинаида Викторовна, минутку.

– Да, товарищ генерал, – девушка стала вполоборота.

– Зинаида Викторовна, я вынужден сделать вам замечание. Вы служите в военном учреждении, должны соблюдать форму одежды. Я говорил Вам, что молодой девушке неприлично ходить с распущенными волосами, у вас же имеется форменный берет.

– Но, товарищ генерал, – бойко возразила Зинаида Викторовна, – Я в этом берете похожа на старый гриб.

Животов улыбнулся.

– Товарищ младший лейтенант, вы знаете, что положено отвечать, когда начальник сделал вам замечание?

– Есть, товарищ генерал, надевать берет – секретарь пошла строевым шагом к выходу, смешливо глянув на ходу в высокое, до потолка, немецкое трофейное трюмо.

– Ну, молодёжь пошла, ты ей слово, она тебе два, – Начальник управления развернул газету, пробежал глазами, ударил по ней ладонью, – Нет, вы послушайте, что она порёт. «безжалостные пули сталинских палачей перечеркнули мечты, надежды» и так деле... Как пули могут что-нибудь перечёркивать?



– Это художественный язык, – сказал Животов.

– Не художественный язык, а пустомельство, ей же сказано было, что ко времени Сталина это не относится. А вот это: «я держу в руках гладкий, словно отлакированный череп, вместилище чувств, мыслей, страстей, желаний. И всего маленькая дырка в районе затылка..» Невозможно читать, откуда такие трепачи берутся. Район затылка. Каково! Послушайте, Владимир Степанович, я же разрешил ей только осмотреть, а кто её в раскоп пустил, да ещё позволил в руки брать...

– Василий Фёдорович, никто её в раскоп не пускал. Это элементарное враньё. Более того, в затылках черепов не обнаружено пулевых отверстий. Останки перевезены в лабораторию, над ними идёт работа, скоро будет составлен протокол эксгумации, в нём всё будет зафиксировано с научной точностью.

– Значит, вы считаете это враньём?

– Уверен.

– Будем писать в газету, требуя опровержения..

– Я полагаю, это преждевременно.

– Почему?

– У нас только уверенность, те же слова, кто нам поверит, а тень на нас опять упадёт, журналисты постараются. Давайте подождём до протокола, а там и потребуем.

– Пожалуй, Владимир Степанович, ты прав. Не станем топиться.

У себя в кабинете Владимир Степанович позвонил домой, что приедет сегодня обедать (обычно он обедал в общей управленческой столовой на втором этаже) и без пяти минут час на служебной «Волге» выехал чрез ворота с комитетского двора и свернул направо. Проезжая мимо здания УВД, он сказал шофёру:

– Слава, тормозни, пожалуйста, – и, высунувшись в дверцу, крикнул: – Девушка, девушка.

Спешившая по тротуару девушка в джинсовых штанах и такой же курточке – обдергузнице обернулась. Это была она, корреспондентка..



– Здравствуйте, – подбежал он к ней, – Виттория, если не ошибаюсь?

– Да, это я господин Животов.

– Вообще-то я товарищ. Получили в управлении газету с вашей статьёй. Спасибо не ждите. Хочу спросить: чем вы в газете своей занимаетесь?

– Спасибо ни от кого не жду, – с ленцой и вызовом отвечала Виттория, – не молодая чать. А в газете, следуя нынешним запросам, мы торгуем информацией.

– Второй свежести, – сорвавшись с поучительной, выдержанной интонации, потому что всё, всё в этой выскочке – недоучке возмущало его, – а информация должна быть только первосортная и проверенная. Ведь в том, что опубликовано под вашей подписью, нет ни слова правды, дырочки в районе затылка, сталинские палачи.. Как вы можете?..

– Пипл хавает, – с видом, что слова Животова ничуть не трогают её и вообще, он старый и отсталый старпер, сказала Вита.

– Что? – не понял Владимир Степанович.

– Пипл хавает, и доволен. Чао! – она изобразила воздушный поцелуй и пошла по тротуару.

Животов смотрел ей вслед, на её тощую, сутулую, плюгавую спину. Как оса прозвенела строчка Высоцкого: «Разлеглась, паскудина, на диван-тахте». Хотя при чём тут тахта, а о паскудине – верно. Он сплюнул.

– Слава, – вернувшись в машину, спросил Животов шофёра, – я не знаю нынешнего молодёжного жаргона, – Что такое: пипл хавает?

– Это с английского, – сказал шофёр. – Народ жрёт.

«Да, да!» – мысленно укорил себя Владимир Степанович за неповоротливость ума. – Видно, недостаточно Диккенса читать в подлиннике. Действительно, ведь reople это народ».



Недовольный и даже обиженный, что об убитых людях пишут и говорят очень мало, Роман отправился в общество «Мемориал». Намереваясь в этот же день добиться встречи с председателем горисполкома, он взял на работе (правда, с большой руганью) отгул.

Как и большинство граждан, Роман полагал, что «Мемориал» борется за правду, заботится о сохранении памяти всех, пострадавших невинно, чья невиновность перед народом или государством доказана или, если пока и не доказана, то очевидна. Такое в обществе сложилось мнение.

Нашёл он «Мемориал» быстро. В здании старой постройки, из тех, что называют престижными, на четвёртом этаже он постучал в кабинет, на новый лад именовавшийся как в Америке, офисом.

На его стук не последовало ответа. Роман толкнул дверь и вошёл. В передней комнате всё сияло и блестело кухонно – вокзальной новизной евроремонта, которая легко поддаётся уборке и которая так модна сегодня. В первой комнате сидели две девушки и молодой парень, которые курили, перелистывали какие-то журналы, давая понять, что они жутко заняты, им не до Романа.

– Здравствуйте, – поздоровался Роман.

Молчание.

– Мне бы вашего начальника, – сказал Роман.

Девушка, сидевшая ближе к нему, указала дымящейся сигаретой на дверь в другую комнату.

В комнате в правом дальнем углу за столом, с включённым компьютером, прикрыв ладонью глаза, так что ладонь образовывала козырёк надо лбом, читала книгу и правой рукой делала ручкой пометы в ней полная женщина с крупными завитками тёмных волос. У ней толстые, накрашенные помадой губы, на носу очки с квадратными стёклами.

Под потолком ряд портретов. Над самой женщиной в углу язвительно шурился всклокоченный Троцкий, слева его в по-



зе пророка, подперевшего кулаком лоб мыслителя, на посетителей не смотрел Солженицын. Справа и слева от Троцкого и Солженицына теснились два ряда незнакомых Роману лиц. Приглядевшись, в одном портрете он узнал Тухачевского.

В этом доме, очевидно, приветствия отменялись, как в двадцатые годы рукопожатия.

– Вы ко мне? – в ответ на его приветствие спросила женщина, посмотрев на Романа взглядом своих навывкате глаз. Толстые линзы делали её глаза похожими на глаза большой морской рыбыны.

– Да к Вам, – и неожиданно спросил не то, о чём намеревался спросить сразу. – Это кто?

– Каменев Лев Борисович.

– А это?

– Зиновьев Григорий Евсеевич.

– А это?

– Бухарин Николай Иванович. В конце концов, Вы кто такой? – картаво возмутилась женщина. – Какой у вас вопрос ко мне?

– Что вы намерены предпринять в связи с недавней находкой?

– Какой ещё находкой? Мы ничего не находили.

– Ну, экскаватор черепа вырыл во время прокладки траншеи. Весь город говорил. Вы разве не слышали.

– Мы – не весь город, – высокомерно и брезгливо ответила женщина. – Ничего не намерены предпринимать.

– Почему?

– Это долго объяснять и не всем доступно.

– Вы говорите, я пойму.

– Если поймёте, слушайте. Тот период истории нас не интересует. А, значит, и те люди. Они закономерные жертвы. У нас предмет изучения один: сталинские репрессии. Начало тридцатых – конец тридцатых. Наследники великих идеалов Октября. Ваши покойники что провозглашали: За единую и неделимую. А дети их, которые родились от уцелевших, что кричали потом? За Родину! За Сталина! А нам не нужна ни единая,



ни сталинская Россия. Нам нужна Россия наша. Троцкистская, свободная, демократическая. Вы простите за откровенность.

Роман не верил своим ушам. Ему прямо в глазах говорили об отрицании как царской, так и советской России. Ему говорили о России, которой никогда не было, и быть не могло. Троцкий хотел построить такую Россию, в которой русский народ должен был только работать, воевать и умирать.

– Вы это серьёзно? – спросил он

– Вполне.

– Так почему же вы не уедете, если вам всё противно?

– Время не пришло. Пока поживём тут.

Роман понял, что её «простите» – насмешка над ним, ей глубоко плевать, кто он такой, его можно не стесняться, не стыдиться, говорить как говорит хозяин со слугой.

Роман на дух не переносил всё американское, и говорил, что американцы – самая бездарная, паразитская, воровская нация, она породила одного гения – Джека Лондона, и тот был не без изъяна, но сейчас пожалел, что у нас, как в Америке, не продаётся оружие. По советским уголовным законам женщин не расстреливали. Но это не женщина, это жаба ядовитая, Суринамская, как она нарисована в энциклопедии, это крыса подпольная из рассказа Грина. Такую не только не жалко, такую убить надо. «А сало русское едят», – писал Сергей Михалков.

– А Вы что хотите, чтобы они кричали: *Fur Heimat! Fur Hitler!*⁶! – не удержался Роман.

– Пошёл вон, – из крысы превратившись в гадюку, зашипела мемориальщица, привстав за столом. – Хочешь, чтоб я милицию вызвала, фашист проклятый?

С лягавыми ему встречаться сегодня никак было нельзя. Роман выбежал на улицу. Тиховодская августовская улица была напоена солнцем, светом, проехала машина – поливалка, шли взрослые, дети, торговали мороженщицы и продавцы квасом, а он стоял с ощущением разведчика, выполнившего опасное задание. Так вот оно какое логово врага, о котором

⁶ За Родину! За Гитлера! (нем.)



читал он в книге Д. Медведева «Сильные духом». А он, получается, выходит Николай Кузнецов, только тот владел немецким в совершенстве, а он знает десятка полтора – два слов. Знает, чем отличается *essen* от *fressen*, не больше⁷.

Прослonyaвшись часа три в центре города, Роман пришёл в горисполком, при царе – батюшке гостинице, в которой останавливалась прибывшая в ссылку сестра Ленина, а в советское время несколько десятилетий обком КПСС. Председатель горисполкома Ломакин Пармен Васильевич занимал бывший кабинет первого секретаря на втором этаже.

Секретарём у Ломакина работала дочь Мигунова, поэтому Роман зашёл в приёмную без малейшей скованности. А до армии он вообще ухаживал за Лизой, так что чуть не породнился с грубияном прорабом. Но не получилось, как говорится, не срослось. Лиза вышла за муж за лётчика аэрофлота, а он женился на Надежде.

– Привет, Лизок, – сказал Роман, заходя в приёмную.

– Здравствуй, Рома, – взглянув на него, ответила Лиза, подшивавшая в папку документ.

– Шеф-то твой тут?

– Тут. Куда он денется.

– Как бы попасть к нему?

Лиза иным взглядом, чем вначале, посмотрела на Романа.

– И не мечтай.

– Даже так?

– Даже так. Сейчас у него заседание градостроительного совета, – Лиза посмотрела на часы. – Часа полтора, как минимум, потом встреча с директором хлебокомбината, потом врач, на тебя не остаётся ни минутки.

– Тогда когда?

Лиза полистала настольный календарь.

– Эта неделя занята под завязку, на следующей он улетает в Москву, потом строители, пожарники, недели через три освободится.

⁷ *essen* – есть, *fressen* – жрать.



– Да я на минутку, какие три недели. Ну, Лиз. Ты всё можешь. Скажи, друг по школе, вместе учились.

– Рома, ты с ума сошёл. Что ему твоя школа? Скажешь на минутку, а растянется на полчаса, а он потом меня, – Лиза понизила голос, – матюгами.

– При женщине? Матюгами? Так ты чего тут работаешь?

Лиза пожала плечами.

– Если для меня нет времени, сяду и буду ждать, – Роман придвинул стул ближе к дверям кабинета и сел, вытянув ноги.

Роман не знал, что может сидеть тут долго. Кабинеты начальства устроены хитро. Из самого кабинета была дверь в комнату отдыха, а на случай таких сидельцев, как Роман, из комнаты отдыха существовала ещё одна дверь – в коридор, так что начальник мог покинуть кабинет, минуя приёмную.

Из кабинета вышли участники совещания, громко разговаривая на ходу. Прикрываясь ими, не видимый Лизе, Роман встал, как за ширмой, направился к Ломакину.

Но Лиза, изучившая все уловки самовольных, не плановых посетителей, была начеку.

– Роман, сидеть, – по-командирски приказала она.

Роман повиновался, но сидеть ему скоро надоело. В недокрытую дверь кабинета Роман слышал, как Ломакин громко и раздражённо разговаривал по телефону.

Терпение Романа было на пределе, почему у председателя есть время трепаться по телефону, а поговорить с ним, избирателем, на последних выборах он голосовал за Ломакина, у него времени нет. И когда Ломакин заговорил по телефону об охоте на уток и громко расхохотался смехом сытого, здорового, не обременённого житейскими мелочами мужчины, Роман ринулся в кабинет.

– Ромка – дурак, ты куда, ты спятил, – кинулась за ним Лиза, но Роман был уже в кабинете.

Разговаривая по телефону, улыбаясь собеседнику, Ломакин обнаружил, что в кабинете появился посторонний.

– Погоди, – перезвоню, – бросая трубку, отрывисто сказал он. – Я же велел никого не пускать. Кто такой?

– Пармен Васильевич, он сам, без спроса, – лепетала Лиза.



– Выйди вон, – крикнул Ломакин Роману.
– Пармен Васильевич, попрошу Вас, выслушайте меня.
– Выйди отсюда, – закипая гневом, рявкнул Ломакин.
– Вы почему мне тыкаете?
– А кто ты, чтобы тебе выкать.
– Пожалейте памятник старины, Богородское кладбище для нас, как Новодевичье для Москвы. Вы же русский человек.

Упоминание о его русскости буквально взбесило председателя. Он затопал ногами, заревел, брызгая слюной.

Для разрешения подобных ситуаций у Лизы была кнопка к дежурному милиционеру.

Она не успела нажать её. Пармен Васильевич матёрый, крепкий мужчина (в колхозной молодости первый хулиган в деревне), сам мог справиться с кем угодно. Ему даже нравилось самому выставлять из кабинета настырных наглецов, и потом в компании горделиво рассказывать о том, как он поставил «чумазого» на место. «Чумазыми» после фильма «Неоконченная пьеса...» он называл посетителей «из простых».

– Раствоя мать. Вон отсюда. Не понимаешь, я тебе сейчас помогу, – он подскочил с явным намерением схватить Романа за шиворот.

Роман до армии занимался классической борьбой, доборолся до второго разряда. Он не думал, что делает, руки действовали сами и через мгновение председатель горисполкома дрыгнув в воздухе ногами был припечатан к полу на лопатки.

Налившимися кровью глазами, Ломакин глядел на побледневшую Лизу, хрипел яростно, как попавший в капкан волк:

– Ты что, б..., смотришь? Вызывай, кого положено.

Нецензурное слово опаматовало Романа, он вмиг понял, что совершил страшную ошибку, и выпустил Ломакина.

Лиза, выскочив в приёмную, трясущимися руками набирала телефон отца, Ромашка влип в ужасную историю. Мигунов, отец её, был близким приятелем Ломакина. У них была компания по игре в «подкидного». Перед выходными они затаривались в обкомовском буфете импортным чешским пивом и



заряжали турнир по сто партий, а то и больше. Резались по копейке всю ночь напролёт. Соперниками были областной прокурор и профессор филологии из пединститута.

XVII

В этот же вечер, предварительно созвонившись с Внуковым, Животов и Чучков пришли в квартиру на Ленинградской. Посреди большой комнаты гостей ждал стол, накрытый белоснежной скатертью. В центре стола сыпала по стенам и по потолку искры хрустальная ваза с пышным букетом пунцовых роз. К столу для гостя было придвинуто оригинальное кресло, сооружённое из оленьих рогов и застеленное шкурой рыси.

– У вас праздник? – осведомился Животов у Анны Григорьевны.

– А как Вы считаете, уважаемый Владимир Степанович, визит генерала не праздник? – шутливо спросила Анна Григорьевна.

– И какого генерала, – подхватил, выходя из кабинета, Викторин Андреевич и пожимавший всем руки. – Генерала государственной безопасности.

– Очень, очень рад знакомству, – отвечая на рукопожатие говорил Чучков, – Много читал, Ваш поклонник и почитатель, но вижу впервые.

– А вы посадите вашего заместителя на гауптвахту, за то, что он тянул со знакомством.

– Прошу, гости дорогие, – приглашала Анна Григорьевна за стол.

– Нет, нет – сказал Чучков, – Простите, но сначала дело. Владимир Степанович столько мне рассказывал об этих пластинках, что мне не терпится.

– Ну что ж, – согласился Внуков, – за дело, так за дело. Хотя и за столом дело.

Все прошли в кабинет, где Чучков выразил своё восхищение библиотекой, был извлечён немецкий патефон и генерала



попросили поставить иголку на пластинку. Когда его постигла неудача, ему с улыбкой объяснили особенность патефона и вскоре по головам всех, как кнут, опять хлестнул страшной силы вопль страдания и боли. Генерал, словно не веря ушам своим, окинул всех смятенным взором и прослушал всё то, что уже слышали все. Потом начались рассуждения о свободе и нравственности.

Так как большей частью говорил один человек, то генерал Чучков, приложил сбоку рта ладонь, тихо сказал Животову:

– А вы мне говорили: спор. Это не спор, а лекция.

Животов согласно кивнул. Пластинка кончилась. Слушатели не узнали как соотносятся нравственность и свобода. Как ни переставляли они пластинки (их было четыре), о нравственности речь не шла.

– Ну, давайте вот эту тогда, – генерал указал на последнюю в стопке.

Ему загодя объяснили, что в записи есть разрывы, она не представляет последовательный связный разговор.

– За хирургию!- воскликнула Анна Григорьевна. – Что за мужики собрались.

Все выпили.

– Анюта моя, – сказал Викторин Андреевич, закусывая, – в войну хирургической сестрой в полевом госпитале была.

– И насмотрелась, и наслушалась, что не дай Бог.

– Давайте всё же слушать, – сказал Животов.

Игла зашипела по пластинке.

– Что ты мне свою Русь съешь, Ленин же сказал о ней «Тюрьма народов».

– Со свободы на Русь перешли, – прошептала Анна Григорьевна.

– Кто такой Ленин? – спросил второй голос. – Да, вспомнил. Этот, ваш главарь.

– Как ты смеешь о Ленине?

– Что мне ваш Ленин. Для вас он, возможно, что-то значит. А мне это имя в новинку, я впервые услышал совсем недавно, оно мне совершенно неинтересно.



Слушающие переглянулись, всех посетила одна мысль, это они знают о Ленине с ясельных лет, а было такое время, когда о нём многие не слышали.

– Так что он сказал о «тюрьме народов?»

– Что? тюрьма и есть тюрьма, чего о ней говорить, неужели не понятно?

– А где он учился?

– Он окончил университет.

– Университет. И такое утверждение? Это простительно гимназисту – недоучке, но не человеку с высшим образованием.

– Это, выходит, Ленин не прав? Поговори у меня.

– Ну да, револьвер – лучшее средство от всяких сомнений. Ты положи его, а то ещё выстрелит.

Послышался глухой звук, что-то стукнуло.

– И в чём Ленин неправ? – сказал первый голос.

– Во всём. Россия, как государство, создалась, как свободное объединение древнерусских племён. Это элементарно. Затем в неё входили, присоединялись добровольно другие племена и народы, и тому есть документы. Кого-то приходилось покорять, присоединять силой. Например, Крым. Местные татары никак не хотели уразуметь, что уводить в плен русских людей и продавать их как рабов, нехорошо, и никакой царь это не позволит делать.

Второй голос с подробностями разоблачал ложный ленинский тезис, доказывал, что в России были наилучшие условия для общежительного сосуществования десятков разных племён и народов. В ней не было случая преднамеренного истребления людей иной расы, как наблюдалось в Америке. Это было слушать интересней, чем отвлечённые рассуждения о свободе, и слушатели узнавали из многолетней дали новые, неизвестные им факты, а когда голос замолчал и игла соскользнула с края пластинки, Внуков сказал:

– Ещё раз убеждаешься в точности слов Вадима Кожинова, что, если Россия – тюрьма, то Европа и иные континенты – кладбище народов.



– Но меня волнует ещё то, – сказал Чучков, – что всё это известно семьдесят лет назад, а мы узнаём только что. Многие наши соотечественники так и не знают об этом.

– Впрочем, садитесь к столу, садитесь, – приглашал Внуков. – Как у Пушкина: «Ещё бокалов жажда просит...» Котлет у нас, правда нет, но кое что...

Анна Григорьевна вскочила, метнулась на кухню.

– Сиди Аня, – остановил её Внуков. – Сначала выпьем за встречу, а потом беги.

Зазвенели рюмки.

За столом обсуждали запись. Чучков согласился, что, хотя документов на сей счёт никаких нет, председатель ЧК свой кабинет устроил непосредственно в студии и во время допросов включал аппаратуру. Известны снимки, где Шалапин записывает своё пение, поёт в приспособление, по виду напоминающее рупор. Студии, записывавшей Шалапина, была важна передача всех голосовых оттенков, нюансов голоса певца, а в нашем случае передача оттенков никого не интересовала, поэтому есть посторонние шумы и запись некачественная.

То, что председатель включал на допросах звукозапись, это не садизм. Он понимал запись, как знак времени, желание оставить на память для будущих поколений, с каким трудом, каких жертв требовала борьба за светлое будущее. А то, что эти жертвы живые люди, с их сердцами, с переживаниями, это в будущем должно было забыться, останется только результат.

Животов жалел в душе, что пригласил генерала. А если он захочет забрать пластинки себе, чтобы слушать их одному. Но Чучков вовсе не помышлял об этом. Пользуясь случаем, спрашивал у Внукова о том, как он пишет, вообще о писателях, о Павле Енисейкине, который до перестройки писал, что мы воевали достойно, а сейчас несёт такую ахинею, что слушать тошно. Чего стоят его стенания о защите Ленинграда. Сдали бы, дескать его, сколько бы людей спасли, И не понимает того, что немцы тогда бы войска из-под Ленинграда на Москву кинули.

– Поёт с чужого голоса, – сказал Животов. Он же в военном смысле безграмотен.



– Нынешнее время многих проверяет, кто чего стоит, – сказал Чучков. – Кто за народ до конца, а кто только прикидывался народным заступником, умел говорить по-народному, а сам давно стал ему чужим.

– Спасибо дорогим хозяевам, – прощался генерал, – и накормили, и напоили.

– Спасибо тебе, Витя, – подхватил Животов, глядя в весёлые глаза Внукова с глазом-снайпером..

– Что я, хозяйку надо благодарить.

– Хозяйке особое спасибо.

XVIII

По благословению Владыки Ширков обратился за помощью на издание газеты к местным предпринимателям. На читавшись о купцах – меценатах: Третьякове, Рябушинском, Морозове, да и в родном городе Ширкова ещё хранилась память о местных купцах, которые по евангельски, не в себя, а в Бога богатели (Лк. 12.21). Он разжился полутора десятками телефонов и начал свои безнадёжные хождения. Действительность оказалась прозаичней исторических очерков. Нынешние богатеи ещё не добрались в своих духовных поисках (если они у них были) до Евангелия. Везде он получал отказы. Прямо никто не говорил «нет», все прибегали к отговоркам, что вопрос может решиться на совете директоров, недели через три позвоните. Совет директоров отклонял просьбу. Как ни странно, но единственный, кто помог, был предприниматель, о котором ходили мутные слухи, что некогда он был уголовником. Но именно он дал немного денег. Немного, но Ширков был рад и этому.

Истоптав все коридоры Тиховодска, Владимир Леонидович отправился в Москву в надежде разжиться средствами там. Ехал через Ярославль, где жила старшая сестра.

Они не виделись несколько лет. Сестра, обрадовавшись ему, утомила его рассказами о своей жизни. Наскучив сидени-



ем на кухне, он уходил в большую комнату, сестра с сетованиями о непутёвом сыне следовала за ним, он уходил в маленькую комнату, сестра с жалобами на свою работу на шинном заводе доставала его там, он лёг раньше обычного спать, сестра присела на край раскладушки. Проснувшись рано утром, быстро выпив кружку чая, он поспешил на трамвай.

В кабинете водителя работало радио. Ширкова сперва обрадовал, а потом смутил голос диктора, зачитывавшего важное правительственное сообщение. Голос его был возвышенно – парадным, каким обычно зачитывались сообщения о полёте космонавтов или о проведении очередного съезда КПСС. И в то же время в интонациях диктора проскальзывали нотки, с каким зачитывались сообщения о кончине какого-нибудь члена Политбюро. В голосе явственно слышалась двойственность. То ли диктор радуется, то ли скорбит, и вообще сомневается, стоит ли ему зачитывать порученное, как бы чего из этого не вышло.

Это было сообщение о ГКЧП. Ширков слушал его с поднявшейся в груди радостью. Наконец-то нашлась кучка умных генералов, которые, видя происходящее в стране, решили взять власть в свои руки и навести порядок, остановить ширившееся все безграничней поношение советской истории, глумление над армией и КГБ, беспорядок в экономике. Заверениям Горбачёва, что всё хорошо, никто не верил. Но не было веры и появившемуся из недр свердловской глубинки Ельцину. В облике его, работающего под простого мужика, чувалось что-то от матёрого партийного демагога.

Не обладая какой-либо информацией, кроме той, которую давали газеты и телевидение, но, наблюдая происходившее вокруг, Ширков видел, что государство работает вразнос: как если бы у мчащейся по ровному шоссе машины начали отскакивать крылья, бампер, ветровое стекло, стало заедать руль, того и глади отлетят колёса и тогда всем грозит авария, катастрофа. Всё чаще припоминались слова писателя Юрия Бондарёва о взлетевшем самолёте, который не знает места посадки.



Купив билет до Москвы, он молча сидел у окна. У людей, ходивших по вагону, у курильщиков в тамбуре на лицах читалась растерянность, никто не мог понять, что происходит. Но ни от кого он не слышал как слов в поддержку ГКЧП (сначала было трудно даже запомнить, эту неудачную аббревиатуру), ни слов осуждения. Все ждали.

С Ярославского вокзала он приехал в центр на Кузнецкий мост. Был понедельник, рабочий день, но улицы заполнены народом. Люди перемещались безмолвными потоками. Вопрос: что будет? витал в воздухе. На другой стороне улицы напротив памятника А.Н. Островскому на тротуаре шеренги солдат. Что-то неминуемо должно совершиться, произойти, ведь солдат просто так не нагонят. Но со времени, как он услышал сообщение в Ярославле, прошло 5–6 часов, однако ничего не происходило..

Шеренги были длинные, метров на сто. Солдат не меньше батальона. Они стояли с автоматами, но без касок, в пилотках. Вид у них был самый мирный.

Какая-то бабулька, старуха-пенсионерка подошла к солдатам и наигранно слезливым, каким порой исповедуются богомолки в церквях, проныла:

– Солдатики, сыночки, неужели вы в народ стрелять будете?

Большинство не обратили внимания на её нытьё, как если бы тут, поблизости в воздухе прозудел комар.

– Прикажут и будем, – равнодушно сказал правофланговый. – В кого-то надо стрелять, раз автоматы выданы.

– Дятлов, не своди с ума народ, – сказал сержант. – Будьте спокойны, бабуся, у нас и патронов-то нет. Даже холостые не выдали.

«Зачем же их сюда вывели?» подумал Ширков.

– Холостые, батюшки, что это такое?

– Холостые – это такие патроны, бабушка, – серьёзно объяснял смугловатый, грузинского вида солдат, – которые холостых ребят не трогают, а женатых валят наповал. Секретная разработка.

Солдаты захохотали.

– Ну, Отар, ты шутник.



– Комик, вообще.

– Махарадзе, разговорчики в строю.

На происходящее с фронтона Большого театра мудро внимал безгласный бог Аполлон, думал свою думу драматург Островский, уже больше ста лет сидящий в кресле, Карл Маркс по – прежнему молчаливо сжимал внушительных размеров кулачище. И напевавший свою говорливую песенку фонтан, и обилие цветов на клумбе, и дети, бегающие у фонтана с мороженым, и всё, несмотря на солдатский строй, навевало мысль о каком-то спектакле, а солдаты – это массовка из «Кармен», необходимый антураж, который неведомый режиссёр переместил с театральной сцены в скопище людей. Балагурство и смех солдат, ясный летний день, тепло, солнце навевали праздничное, весёлое настроение, но не тревогу. Вся обстановка производила впечатление несерьёзности, шутовства, что разыгрывается какое шутовское действо, а присутствие солдат, их длинные шеренги, дубинки на поясах, танки на перекрёстке и их абсолютное бездействие придавали всему действию впечатление несерьёзного балагана.

И в самом деле, на глазах у всех совершался государственный переворот, при уличных декорациях уничтожалась великая держава, но всё делалось, чтобы никто этого не понял, не догадался.

А совсем поблизости отсюда, в 5–10 минутах ходьбы действие это кропилось кровью. В подземном переходе устраивалась инсценировка возмущённого населения. Никто из участников инсценировки не должен был догадываться, что через несколько минут, может быть, именно он будет принесён незримыми кукловодами в жертву.

Погибнут нетрезвые молодые люди, на пышных похоронах которых будет настойчиво, как заклинание, повторяться, что их имена не забудутся в будущей свободной и демократической России. Но, видимо, потому, что такой России так никто и не увидел, имена их забылись.

Разрушавшие своими поступками Советский Союз, эти трое станут последними Героями Советского Союза. Большого надругательства над священной наградой трудно придумать.



А неподалёку отсюда у Дома Верховного Совета воздвигались игрушечные, которые никто не будет штурмовать, баррикады. А Б. Ельцин, вскарабкавшись на танк, что-то говорил о России, свободе и демократии.

Просить у кого-нибудь средств на газету было бессмысленно. Повидав друзей, Ширков в этот же день вернулся назад.

Билетов не было, добирался он на перекладных. Доехав до Александрова, он за часы ожидания, дошёл до монастыря, где, казалось, ещё живёт тень царя Ивана Васильевича, купил в книжном киоске на вокзале книгу-альбом об А.М. Василевском и на стене автобусной остановки прочитал на приколотом кнопкой на листке из ученической тетрадки: «Товарищи! Враги демократии потерпели поражение. Да здравствует свободная Россия!»

С чувством горечи и жалости на людскую тупость он хотел сорвать листок и выбросить в урну, но прошёл мимо.

Поезд в Александрове стоял долго, и Роман стал зрителем забавной сценки. По верху насыпи в длинной, почти до колен, белой рубашонке шагал мальчик, ребёнок лет четырёх-пяти. Позади него по тропке трусил маленький, беленький, словно из сказки козлёнок. Его крохотные рожки поблескивали в лучах клонившего к закату предвечернего солнца.

Козлик прибавил рысцы, побежал, нагнул головку, явно целясь в мальчишечий зад. Но мальчик, видимо, почуяв что-то, или кто-то крикнул ему, обернулся и успел схватить шалуна за рожки. Роман не мог слышать, но видел, что мальчик смеётся, хохочет. Вдруг огромная насыпь с кустами, деревьями, постройками, мальчиком и козлёнком на ней плавно поехала назад – поезд тронулся.

Смешно, но сценка смягчила впечатление от того, что он наблюдал на московских улицах, ослабила, снизила их.

Московские события напомнили о себе и в Тиховодске. В городе он отвечал на вопрос по телефону об их общей знакомой, работавшей и жившей в Ферапонтове(из тех, готовых откликнуться на что положено откликаться).



- Что у нас хорошего? – спросила его собеседница, – что-то голос какой-то невесёлый.
- Да ничего. Что может быть хорошего?
- Отчего голос у вас грустный?
- А чему радоваться, когда государство рушится?
- Ну как же, ведь ГКЧП разогнан.
- Государство рушится, чему же тут радоваться.
- Вы думаете, рушится?
- Что тут думать. Это очевидно, – и положил трубку.

XIX

Тиховодск, возникновение которого было связано с житием святого угодника Божия, был одним из старейших русских городов.

Было здесь некогда и княжество. Сидел на князем дворе в кресле с подлокотниками из слоновой кости князь на постеленной под кресло медвежьей шкуре и правил суд и расправу. Окрестные лесные племена платили ему дань соболями, мёдом, воском. Ходила хоробрая княжеская дружина по близким и дальним окрестностям, добывала себе славу, а князю – новые земли и богатство.

Проносились над городом века русской истории, и в каждом жителе Тиховодские оставили свой след.

Под чёрным треугольным стягом спешила княжеская дружина на зов великого князя московского Димитрия, скорбно смотрел на воинские ряды шитый ярými шелками всеведец Спас. Много героев-тиховодцев полегло на поле брани у излучины Дона с окайнным Мамаем, но чести своей не посрамило.

Бились тиховодские витязи в далёкой Ливонии под знаменем царя Ивана Васильевича, крепко стояли под Нарвой с царём Петром, били короля Фридриха под Кунерсдорфом. Не про них ли прусский король сказал знаменитые слова, что русского мало убить, его ещё нужно повалить. Отличились северные люди в Бородино, их видел Париж. Отражали они штур-



мовые колонны англичан и французов под Севастополем, а когда Государь Освободитель поднял голос за угнетённых болгар, построено было тиховодское ополчение на соборной площади, отслужен был молебен, тиховодское купечество раскошело на угощение ополченцам. Сам Его Высокопревосходительство губернатор Романус первым испил чарку водки, закусил горячим пирогом, стряхнул капли водки на землю, и зычным, сорванным на царской службе, голосом крикнул христолобивому воинству: УРА!

Далеко катились раскаты боевого клича. С ним тиховодские роты стояли насмерть под Горным Дубняком и Шипкой. С этим кличем шли солдаты в атаку на японские окопы у сопки Маньчжурии, его слышали немцы и австрийцы в пулёмётных сражениях Первой мировой.

Велика и неугасима военная слава сыновей России. Поднялась она ещё выше в битвах под Москвой и Сталинградом, на просторах Курских полей, на площадях Берлина.

Жил Тиховодск обычной жизнью русских городов. Пережил, перетерпел революцию, войны и голод, на царском, самодержавном фундаменте создал и отстроил новое государство, единственное в мире по единению народа с властью. Через реки крови, через океан страданий и мук народ вырастил страну, подобной которой не было на Земле.

Эту удивительную страну мы ещё помним.

На юге её высились недоступные горные пики в сверкающих вечных льдах, словно в алмазных богатырских шлемах. На крайнем севере громоздились торосы из прозрачного, бьющего до неба ослепительными солнечными бликами льда.

В зелёных необозримых долинах раскинулись золотистые нивы, цветущие сады. Под ветром колыхались моря тайги, тёмно-зеленые хвойные леса, заповедные дубравы, мягкого светло-капустного оттенка разливы лесов лиственных.

Полноводные реки текли на север и юг, на восток и запад, несли на себе караваны судов и барж, плотов, рыбацких сейнеров; по рельсам спешили неугомонные составы поездов.



Повсюду, цвета белого лебединого крыла виднелись стены храмов и монастырей, увенчанных животворящими крестами, а с колоколен сочился медово – тягучий колокольный звон.

Деревни и сёла, многолюдные города украшали страну. Из карандашных труб домен тянулись ленты кудрявого, как овчинная шерсть, дыма. Там в огне сталеплавильных печей, на прокатных станах, у станков ковалась несокрушимая мощь государства.

Покой и счастье страны стерегли могучие авианосцы и тяжёлые ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, в шахтах затаились остроносые свечи ракет. Победоносная армия, с боями прошедшая полмира и свято хранящая боевые традиции отцов и прадедов, готова была незамедлительно дать сокрушительный отпор любому, кто посмеет посягнуть на священные державные рубежи.

Всюду бурлила и радовалась, как внешнее половодье, семейная, братская, трудовая жизнь.

То была страна, в которой наравне с подвигами на полях сражений, всенародной славой увенчивались труженики, работники. Труд на благо Родины, на благо народа был высшим мерилом человеческой жизни.

То была цветущая, мечтающая и, главное, поющая страна. Утро её начиналось с пения горнов в пионерских лагерях и бодрящей побудки сигнальных труб в воинских гарнизонах. Пели дети на лужайках пионерлагерей, солдаты на строевых плацах, студенты в стройотрядах, ИТР- ы и служащие на субботниках, в детских садах пели малютки, пел ветер на арфовых струнах проводов высоковольтных ЛЭП, пели даже сплошь железные, бездушные тепловозы, перекликаясь друг с другом на стальных рельсах густыми басовитыми содрогающими воздух гудками.

Мудрый, великий вождь заложил её основы, воздвиг стены, но ушёл, не успев довершить начатое, оставив недостроенный Дом.

Господь не дал стране достойного преемника. Правители были, но править готовым, не мудрена наука. Хозяином быть,



глядеть вперёд, друзей содержать в дружбе, а врагов в страхе, жить не для себя, для народа – не всякому дано.

И настали чёрные дни, когда в родовом гнезде, в Кремле кормило государственного корабля взял в руки ничтожный человек, в состоянии бывший править только прогулочной лодкой. Мелкий умом, но говорун неумолимый, он обладал даром в потоке пустых, бесплодных слов затемнить, опошлить, утопить любой государственный вопрос. Великая страна, ковавшая из огня и самой крепкой стали непреклонных вождей и героев, выродилась в немощное дряблое существо, породившее ненужного ни стране, ни народу скользкого и лживого слизняка, сумевшего прельстить лукавыми, лживыми словами весь народ. Народ, привыкнув доверять власти, не мог допустить в мыслях, что во главе величайшего в мировой истории государства, великой семьи народов окажется такой выродок.

Теряя ускользающую, уходившую меж пальцев власть, не желая утратить приятности и почести, присущие ей, он вздумал разыграть спектакль, тщеславно надеясь, что никто не заметит подмены. И проиграл.

XX

Из горисполкома Романа привезли в горотдел милиции, это было близко: площадь проехать да короткую улицу Ленина.

За это время Лиза успела дозвониться до отца, а тот до Ломакина с просьбой простить молодого дурня, устроившего в кабинете председателя скандал. Ломакин ни за что не хотел прощать наглого хулигана, стервеца, буяна (это были цензурные слова, какими он наградил Романа), говорил, что посадит его за нападение на представителя власти, сгноит гадёныша, и уступил только выторговав обещание, что Мигунов внепланово заасфальтирует площадку перед горисполкомовским гаражом.



В большой общей камере, куда свозили задержанных, вскоре стало так тесно, что люди стояли.

Наконец, всех вывели во двор, построили в одну шеренгу. Ждали нового начальника горотдела, о котором Роман уже узнал, как о человеке совсем не похожего на милиционера, внимательном, деликатном, обходившегося без мата и оскорблений, в отличие от предыдущего начальника, руководившего горотделом более двадцати лет и превратившимся в городскую достопримечательность с отрицательным знаком.

С крыльца горотдела лёгкой спортивной походкой сбежал молодой подполковник в ладно сидевшей на нём милицмейской форме, с аккуратно подстриженными усами и взглядом веселых и умных глаз.

Быстро проведя опрос, человек с десятка сразу отпустил, посоветовав быть внимательными. Затем с тем же улыбочным взглядом пошёл вдоль строя и, указывая пальцем, говорил:

– Десять суток, пятнадцать, десять, пятнадцать...

Роман наклонился вперёд и, сосчитав оставшихся до него людей, смекнул, что получит пятнадцать суток. Но он ошибся. Поравнявшись с ним, подполковник спросил фамилию и сказал:

– Так это Вы помяли председателя горисполкома?

– Да я.

Подполковник, покачив головой, улыбнулся странной улыбкой.

– Пять суток, – сказал подполковник и очень тихо добавил: – Извините, меньше дать не могу.

Роман, растерявшись, чуть не ответил по-солдатски:

– Есть, – но смолчал.

И «десять–пятнадцать, десять–пятнадцать» зазвучало дальше.

После «раздачи» всех препроводили в большую камеру с двухъярусными койками, покормили какой-то баландой и выключили свет.

Роман долго не мог заснуть, перебирал в памяти стычку с Ломакиным, но больше всего думал о Наде, как она? Пришла



с работы, а дома никого, ни его, ни Саши. В доме телефона не было, он никак не мог дать знать о себе.

Надя в самом деле пережила тревожный вечер. Ни Ромы, ни Саши не было дома. Она опросила соседей, детей, бегавших во дворе, никто не видел их. Роман мог уйти с Сашей к друзьям, но в этом случае он предупреждал её. Сначала она злилась и мысленно обещала показать мужу, где раки зимуют, злость сменилась тревогой, тревога отчаянием, отчаяние страшными мыслями.

Она решила дойти до сада, узнать о Саше.

Детский сад размещался в здании, которое по старинке имело в подвале свою кочегарку.

Какова же была её радость, изумление и одновременно с этим брезгливая гримаса, когда в этой комнате с низким грязным потолком, на который пламя, горевшее в топке котла, бросало красноватые отсветы, она увидела, сидевшего у стола в лёгкой курточке своё сокровище. По распорядку дня сын уже два часа должен был спать в чистой и мягкой постели... Бросившись к Саше, целуя и стискивая его в объятиях, она мельком поглядывала на кочегаров, двух небритых мужиков, с первого взгляда показавшихся ей какими-то Дантовскими чертами, со зверовидными лицами, быстро сунувших что-то под стол, едва она вошла. Увидев, кто пришёл, кочегары достали из-под стола початую бутылку водки. На столе в тарелке лежали солёные огурцы, грубо порезанные ломти чёрного хлеба. И какой был её ужас, когда она увидела, что Саша в одной руке держит надкусанный огурец, а в другой хлебную горбушку, при чём обильно посолённую.

Пойми этих детей. Дома чуть не каждую ложку супа сын ест с уговорами: «за маму, за папу, за бабушку», а здесь наворачивает огурец, неизвестно где валявшийся.

«Как в аду», – подумала Надя, так всё было тут грязно, черно, пахло угаром, и какой-то перегорелой вонью, стёкла окон, никогда не знавшие прикосновения мокрой тряпки, тоже покрытые копотью, почти не пропускали света. Блики от топок котлов, да такая же грязнущая, тусклая, обросшая паутиной



лампочка, освещала комнату. И в этой грязи, черноте, копоти, угарной вони сидел её Саша!

– Мама, мама, – кинувшись к матери, закричал Саша, обнимая её за шею и радостно торопясь что-то рассказать.

– Сынок Ваш? – спросил один кочегар, оказавшийся мужчиной средних лет с приятным добрым лицом и синими ясными глазами.

– Да, да, – продолжая целовать Сашу, бормотала Надя.

– Умница какой. Весёлый, не плакал, песню «Три танкиста» нам спел. Вот парень! До свидания, Санёк, – он пожал Саше ладонку своей ладонью с грубой, обветренной кожей, с въевшимися в кожу чёрными порошинками угля.

– До свидания, дядя Дима, – ответил Саша подавая свою крохотную ладонку. В иное время Надя с омерзением бы оттолкнула руку кочегара, а то и врезала бы по ней, подумав, что на ней миллионы микробов, но сейчас постеснялась это сделать.

– Приходи в гости, – сказал кочегар.

– Приду, приду, дядя Дима.

«Как же, ждите» – подумала Надя, выходя на улицу.

Саша часто потом просился в гости «к добрым дяденькам».

Указ об аресте на 15 суток за мелкое хулиганство был принят в хрущёвские времена в декабре. Всех суточников с той поры звали «декабристами». Роман даже гордился, что его так зовут. Он чувствовал себя борцом за свободу. Советским детям с детства прививали почтение к «героям» декабря 1825 года.

Днём «декабристов» выводили или вывозили на работу подсобниками на стройке или на заводе. Романа определили подметать тротуар перед горисполкомом, и не раз Ломакин вылезал из легковушки и с государственно нахмуренным лбом шагал мимо, как будто не замечая его. Конечно, замечал, но с мстительным чувством: «помаши метлой-то, попозорься» не признавался.

Приходила и Надежда, стояла в сторонке, грустно качала головой.



Роман улыбался, размахивая метлой, декламировал Кольцова:

– Раззудись плечо,
Размахнись рука.
Ты пахни в лицо
Ветер с полудня.

Надя выговаривала ему:

– Постыдись, дурачина, люди-то смотрят.

Роман успокаивал её:

– Брось, Надюша. Не бери в голову. У меня ведь на лбу не написано, что я твой муж.

Дежуривший милиционер не разрешал говорить долго, просил Надю отойти.

Роман был смелым и с милиционером у экскаватора и с прапорщиком на раскопе, и с Ломакиным не только потому, что был такой от природы, но и потому, что рассчитывал на помощь Внукова. Он человек в городе известный и авторитетный и, конечно, в случае чего, заступится. Надя однажды сказала, что встретила Внукова на улице, он поздоровался с ней, спросил о Романи и, когда узнал, что он на сутках, не посочувствовал, а только спросил, в каком отделении милиции он находится, и добавил:

– Пусть посидит, это хороший способ узнать народную жизнь. Горький в молодые годы с босяками якшался, а потом кем стал.

– А ты надеялся, – сказала Надя.

Роман обиделся (ну что ему стоило замолвить словечко), но что поделаешь.

Каждый день, после прибытия «декабристов» с работ и скудного ужина, в камере начинались разговоры. До отбоя времени было много. Большинство рассказов касалось сотрудников органов внутренних дел, в просторечии: ментов, мусоров, лягавых и т.п. «Декабристы» помещались в большой на 20 человек камере в тюрьме на Архангельском тракте. Камеру проветривали, мыли полы, но ещё, видимо, с царских времён в ней зародился тот гнилой, кислый тяжёлый запах помещения, в котором годами содержится большое количество людей.



Один из «декабристов», начитанный и язвительный, с издёвкой стал говорить о термине «органы». У человека есть органы кровообращения, дыхания, пищеварения, внутренней секреции, выделения и т.п. А милиционеры органы чего? Говорил он так смешно и образно, что камера хохотала и в конечном итоге сошлись на том, что это органы мочеполовые.

– Нет, всё же мусора страшные люди, – сказал кто-то в углу. – Ими наверно рождаются, а не становятся.

– Что с человеком делается, когда он мусором становится? – задал вопрос «декабрист» с философским складом ума. Такая злоба в нём появляется.

– Не злоба, от власти это, – возразили ему, – Дадут ему какую – никакую власть, а власть без злобы не бывает.

– Это от начальника зависит. Раньше начальник был, не помню его фамилию.

В камере откликнулось сразу несколько голосов: при нём мусора лютовали, беспредельничали, привезут сюда, сначала тебе хавальник начистят, а потом разговаривают, а новый, Шубкин, обуздал их. Бьют, но в меру.

– А он бы взял и совсем запретил, – сказал Роман.

На него посмотрели с разных сторон.

– Ты что, – продолжал тот же голос, – Если совсем запретить, никто в ментовку служить не пойдёт. Многие, особенно из сельпа сюда и идут, чтоб людей бить.

– И зарплату при этом получать.

– Есть народец, похуже мусоров. – сказал голос у дверей. – Это бабы. Вот со мной была история.

Все приготовились слушать.

Пришёл я как-то на день рождения к теще. Чего вы лыбились? Думаете, теща, так это всё такое. Нет, теща у меня, Царство ей Небесное, была женщина правильная, человек справедливый, душевный была человек.

– Давай без предисловий, – прервали его из угла камеры, – У нас не вечер воспоминаний о тещах. Ты ещё ей песню спой. Был однажды чмо, он про тещу аж песню написал.



– И вот пришёл я к ней на день рождения. Выпил стопарика три – четыре. А на улице весна, начало мая, солнышко так ласково пригревает. Пошёл я на улицу покурить. После морозов, а зима лютая была, душа оттаивает, нежится в тепле.

– Слушай, кончай свои нюни, – прервал его тот же голос. – Говори дело.

– Алё, послушай, – прервал недовольного затяжкой рассказа, третий голос, тяжёлый, хриплый бас, – не мешай, пусть человек говорит. Ты чего, куда торопишься?

– Да не тороплюсь, – стушевался второй голос и затих.

– Иду я, – продолжал рассказчик, – рядом на путях маневровый тепловоз посвистывает, трава, цветочки первые лезут, пичужки пиликают. А я балдею. Солнышко греет, я сыт, пьян и нос в табаке. Настроение у меня: весь бы мир полюбил. А тут дом двухэтажный стоит, раньше общага была, проводницы незамужние жили ну и другие бабёшки.

Вдруг из окна на первом этаже меня словно циркульной пилой по сердцу резануло – пронзительный бабский крик. Какое мне дело до её крика? Бабы, из-за чего угодно могут орать. И снова крик, да чуть не прямо мне в ухо. Мужик её, видать, бьёт, крик-то такой страшный, больно ей.

Зачем я остановился, какое моё дело? Бьёт, может, заслужила она. Может, суп пересолила, а он с работы злой пришёл. Всякие мужики есть, другой за подгорелую кашу шкуру с бабы спустит.

А я, как дурак, и остановился, сунулся не в своё дело.

– Кореш, – кричу, – может, не надо?

Окно открыто, выглянул в него мужик. Шибздик шибзди-ком. Маленький, тощий, сутулый, глаза с горошину, крысиные.. Короче, не человек – так, подтирка. Ну я с ним по-хорошему.

– Слушай, говорю, друг, ну чего ты с бабой-то так, ведь слышно.

А он из окна, как кузнечик, скакнул и стоит передо мной. Так ловко у него получилось, как в кино

– Не твоё, драное дело, – говорит. – Моя баба, чего хочу, то и делаю. – И – раз! – справа мне в ухо. Я руку его отбил, а сам не бью, зашибу ещё, отвечай потом.



А он, видно подумал, сгузал я, подскочил ближе, да как пнёт мне под живот. Не попал, куда хотел, а то я тут бы и скрючился, истоптал бы он меня, но всё ж в брюхо попал, согнулся я. Больно, дышалку перехватило «Ну, ссэка, – думаю, – я сейчас тебе сделаю козью рожу». Он снова налетает на меня, а я через боль, как врезал ему по пятаку, кровь-то так и выскочила на землю. А настырный, даром, что гнида такая, лезет. Ещё мало. Ну тогда давай я его и справа и слева. Он бежать. Мне б остановиться и дело с концом, а я догнал, схватил его, только хотел плюху добротную, с советским знаком качества выписать, а тут менты, цоп меня за руку. И молотить. А потом начали разбираться.

Но баба-то, баба-то этого кузнечика. Знал бы я, пусть бы он убивал её, на мелкие частички резал. Ведь всё, курва, на меня свалила. Дескать, я драку начал, я её мужа избил. Что со мной теперь будет? Или сутки дадут или в лагерь посадят.

– Город познакомил, крошка, нас.

Лагерь нам принёс с тобой разлуку.

Суд на наше счастье и любовь, о Боже мой!

Поднял окровавленную руку, – пропел рассказчик.

Роман чуть не расхохотался. Так не вязалась эта давняя блатная песня с нелепой только что рассказанной историей.

– Муж и жена – одна сатана, – сказал один голос.

– Зря ты связался, – сказал другой.

– Страшнее бабы зверя нет, – подвёл кто-то итог.

– Всё же мусора страшней и баб, и кого угодно. Баба может пожалеть, а этих, видно, отбирают по такому конкурсу, где жалость исключается.

– Это у них обычно: сначала налупить, а потом разобраться.

– Мне говорили, – слышался высокий, заикающийся от волнения голос, – что если бы ночью на кладбище загорелись огни на могилах тех, кого убили в милиции, то на кладбище стало бы светло как днём.

– Их же поставили со злодеями бороться, а что же они-то над народом издеваются? Сами злодействуют?

В этот момент к двери подошли в коридоре.



– Завязывай бакланить. Спать пора.
И камера замолчала.

А наутро был понедельник 19 августа 1991г.

«Декабристов» вскоре после подъёма привезли в горотдел. В горотделе с утра установилась необычная тишина, растерянность. По коридорам и лестницам никто не бегал, все ходили пешком.

– Война, что ли? – высказал кто-то предположение.

– Не-е, – возразили ему, – Горбач, поди-ко, загнулся.

– Загнётся, он ещё на наших могилках спляшет. Затылок-то, по телеку показывали, как у хряка хорошего, молоком выпоенного, такого только на Рождество колоть..

– Всю жизнь не рабатовал.

Развод милиционеров на службу, проводившийся с оркестром, провели на скорую руку, без всякой строевой торжественности.

А в полдень подполковник Шубкин построил всех во дворе..

– Что граждане хулиганы, тунеядцы, алкоголики, – подражая артисту Басову в фильме о Шурике, начал он, но улыбки на его лице не было. – Вообще, чтоб кота не тянуть за хвост, в связи с чрезвычайными обстоятельствами, объявляю вам амнистию. Без вас у меня куча дел. Катитесь все по домам. Разойдись.

Подполковник сел в ожидавшую его «Волгу», на которой он ездил к начальству, и выехал со двора. Но перед тем, как сесть в машину, подошёл к Роману и сказал ему:

– Впредь будьте сдержанней. Ломакин человек тяжёлый и мстительный.

XXI

19 августа отозвалось не в одном горотделе.

20 августа у здания обкома на улице Пушкинской, в которое обычно около девяти часов утра ручейком струился служивый люд, в этот день и час было безлюдно. Никто не спе-



шил по пологому пандусу к автоматически раздвигавшимся дверям. Прочитав или услышав по радио указ президента Ельцина, что деятельность коммунистической партии приостанавливается, люди послушно остались сидеть в своих квартирах, выжидая будущих событий.

Дежурный милиционер, сидевший у входа, закулив, вышел на крыльцо, но тут же, торопливо затушив сигарету, вернулся на пост. К дверям подходил согласно партийной иерархии секретарь «три», ведавший вопросами сельского хозяйства. Фёдор Михайлович Птицын. Секретарь неспешно вошёл в вестибюль, поздоровался с постовым, но не проследовал к лифту, поднимавшему его на седьмой этаж, а подошёл к постовому, поздоровался за руку и сказал:

– Иван Степанович, я вчера прочитал в журнале любопытный, поучительный рассказец. Во время первой мировой войны солдат стоял на посту у продуктового склада. Немцы начали обстрел тяжёлыми снарядами. Мощность снарядов была такова, что склад засыпало землёй. Солдат стоял на посту почти целый год. Когда его хватились и откопали, он был жив-здоров.. Как вы полагаете, что помогло солдату перенести столь тяжёлое испытание, ведь он был фактически погребён живо.

Милиционера удивило, что секретарь назвал его по имени отчеству, тогда как обычно проходил мимо, лишь поздоровавшись. И к чему он рассказал эту историю?

– Видимо, потому что он присягу давал, – сказал он.

– Потому что он был верен... – Фёдор Михайлович хотел подсказать постовому ответ.

– Верен воинскому долгу.

– За-ме-ча-тельно, – воскликнул Птицын. – Каждый должен прежде всего исполнять свой долг. Ну, желаю благополучной службы. Сергей Никитич (первый секретарь) у себя?

– Никак нет. Ещё не приходили.

Фёдор Михайлович направился к лифту.

Лифт едва ли успел подняться на второй этаж, как к зданию обкома (уже бывшего), лихо подрулила служебная «Вол-



га», знакомая каждому милиционеру в Тиховодске. Из машины с двумя офицерами вышел Шубкин. Быстрой, летучей походкой он вошёл в здание. Постовой вытянулся, отдавая честь.

– Все на местах? – отрывисто спросил Шубкин милиционера.

– Никак нет. Один Птицын только что пришёл.

– Хорошо, – сказал начальник горотдела. – Меньше хлопот.

Фёдор Михайлович только зашёл в свой кабинет и разложил на столе бумаги, которые наметил с вечера к работе, как в приёмной раздались шаги. Дверь в кабинет распахнулась.

– Здравствуйте, Фёдор Михайлович, – поздоровался начальник горотдела, которого Птицын знал ещё Володей, молодым бойцом стройотряда

– Рад приветствовать, Владимир Александрович, – отозвался секретарь. – С чем пожаловали?

– Вы знаете об указе президента Ельцина. На меня возложена задача взять под охрану здание обкома КПСС, опечатать кабинеты.

Шубкин замаялся. Он глубоко уважал секретаря, бывшего фронтовика. По своей службе он много знал о руководящей верхушке области, Птицын выделялся среди них честностью и бескорыстием. Партия была для него местом добросовестного служения, а не кормушкой, во что превратилась она в последние годы. Начальник горотдела не решался сказать, что секретарь должен оставить кабинет и выйти из здания. Не раз участвовавший в схватках с вооружёнными бандитами, бывавший под пулями, он потерялся перед худощавым, слабым стариком-секретарём.

– Товарищ подполковник, – официально обратился к нему секретарь. – Вы же член партии. В конце концов, Вы член обкома и должны понимать, что совершаете незаконное. Никто не имеет права запретить партию, и уж тем более ваш запойный президент. Нацистскую партию запретил Нюрнбергский международный трибунал, а не какой-то один человек. Над



компартией суда не было, да и не за что её судить. Я отказываюсь подчиняться Вам.

– Товарищ секретарь, – отвечал начальник горотдела, – Я солдат. Мне приказали, я выполняю приказ. Мне будет очень прискорбно, если придётся применить силу.

– Делайте, что хотите.

Подполковник повёл ладонью. Лейтенанты подошли к Фёдору Михайлович с боков, взяли его под руки.

– Стойте, – крикнул он, – дайте мне по крайней мере, взять свои личные вещи.

Птицын укладывал в портфель маленький со спичечный коробок бюстик Сталина, стоявший на столе возле письменного прибора, вынул из стола разрозненные фотографии, старые красные блокноты с партконференций.

– Защитнички нашлись, – ворчал он, дрожащими от негодования руками, укладывая вещи в портфель.

– Фёдор Михайлович, – мягким, извиняющимся голосом говорил подполковник, – наша задача избежать массовых беспорядков, возможного кровопролития.

– Иногда для блага государства кровь нужно, даже необходимо пролить. Лучше пролить кровь сотен негодяев, чтоб потом не страдали миллионы. Хирург, проливающий кровь пациента, злодей или благодетель?

– Так обычно говорят о чужой крови, а вы готовы пролить свою? – досадуя в душе на происходящее, возразил начальник горотдела.

Фёдор Михайлович исподлобья взглянул на него.

– Зачем вы оскорбляете меня? – вскрикнул он. – Я трижды ранен на фронте, один раз тяжело, полгода провалялся в госпитале, один осколок до сих пор во мне.

– Простите, я не знал, – виновато пробормотал начальник горотдела.

– Куда теперь мне идти? – захлопывая портфель и застёгивая его, спросил секретарь.

На первом этаже, проходя мимо постового, Фёдор Михайлович, сказал ему:



– Прощай, сержант. Ты так ничего и не понял.

Понимая, что власть секретаря кончилась, постовой ничего не ответил, без почтения глядя в сторону.

Двери послушно разъехались, когда Птицын и Шубкин подошли к ним, и в дверях чуть не нос к носу столкнулись с инструктором из отдела пропаганды Василием Призоровым. В этом не было бы ничего необычного: человек, хоть и изрядно припоздав, идёт на службу. Необычное было в том, что Василий был в дугу пьян. Он пошатывался и Фёдора Михайловича узнал, только подняв голову.

– Что-то вы рано сегодня начали, – с иронией заметил Фёдор Михайлович.

– Эх, Фёдор Михайлович, Фёдор Михайлович, – увидев секретаря, – с трудом говорил Призоров, мотая головой, – у нас у всех горе, такое горе, горе- горькое. По свету шлялося, и на нас невзначай набрело.

– Нет, петь не надо, – остановил его Птицын. – Что за горе у тебя?

– Как? Вы не знаете? Партию-то родную нашу запретили, – еле ворочал языком Призоров.

– Так ты что же, радуешься? – с неприязнью глядя на него, спросил Птицын, не переносивший пьяных.

– Радуюсь? Не радуюсь, Фёдор Михайлович, дорогой мой человек, – Призоров попытался обнять Птицына, но чуть не упал, его поддержал под руку лейтенант. – Поминки справляю. Вечная ей память, матушке.

– Рано ты её хоронишь. Рано. Идите лучше домой. – Птицын обошёл покушавшегося-таки обнять его Призорова.

– Фёдор Михайлович, – спросил Птицына Шубкин, доставивший Птицына, несмотря на возражения, на машине прямо к дому, – Вы полагаете, что партию хоронить рано?

– Эх, Владимир Александрович, – покачал головой Птицын, – Как вы задаёте такие вопросы? Мы знали, что в партии не всё ладно, когда из неё стали люди уходить добровольно, но объяснить причины этого не могли или не хотели. С партией дела обстоят следующим образом. Все, считающие



её при смерти, допускают ту же ошибку, какую допустили в тридцатые годы вульгарные атеисты. Надеялись, что старухи, ходящие в храмы, вымрут, и церковь кончится. Но увы, старухи повымерли, а Церковь-то жива. Она нужна народу, и пока жив народ, жива и церковь. История партии неоднородная, но в целом партия принесла много пользы народу, много добра. Народ верит в неё и на нашем веку кончина ей не грозит. Помните моё слово.

XXII

Приехав из Москвы, Ширков пришёл на службу, в редакцию газеты. Виденное им в Москве не отпускало душу. Солдатский строй у Большого театра, танки в переулке, вся атмосфера говорили о том, что на его глазах происходило судьбоносное в жизни страны событие, а он не мог понять его, дать ему однозначную оценку. Речи на радио и телевидении, что кучка заговорщиков пыталась захватить власть, предназначались для публики, толпы, не способной думать. Какая власть нужна была маршалу Язову, когда в его руках такая силища, как армия; какая власть была нужна Пуго, командиру всех милиционеров в стране? И т.д. Как будут захватывать власть люди, которые сами по себе – власть.

Что-то было, а что, понять не удавалось. Верить тому, что говорилось, нельзя. Или те, кто говорят, сами не знают, или заведомо обманывают его и всех. Неприятное чувство, что тебя – взрослого человека, водят за нос.

Сумятицу мыслей прервал телефонный звонок. Звонил владыка Михей.

Ширков сразу узнал его правильный чёткий выговор. Владыка так строил из звуков свою речь, что слушать его было приятно. Ни шепелявенья, ни сюсюканья, ни одного скомканного, кое-как произнесённого звука. Слушая Владыку, Ширков вспоминал Блока: «И медь торжественной латыни поёт на плитах, как труба». Речь Владыки могла бы служить эталоном



для нынешних дикторов радио и телевидения, которые, наплевав на советские традиции, порой несли такую тарабарщину, хоть уши затыкай.

– Владимир Леонидович, Вас потревожил архиепископ Мийей. Что же вы забыли меня? В стране такие события, хочется поговорить, а мне не с кем словом перемолвиться.

– Простите, владыка, уезжал в Москву, не было меня несколько дней, – смущённо оправдывался Ширков.

– В Москву? – воскликнул Владыка. – Вот как. Жду, жду. Рад буду Вас видеть.

В 6-м часу вечера Ширков позвонил в дом на Панкратова. Владыка ждал его во дворе.

В конуре, когда они проходили мимо, слышалась яростная возня и рычание.

– Вот ретивый служака, – сказал Владыка, – протестует, что не дают ему служебное рвение показать.

В кабинете Владыки Ширков дал отчёт о поездке, что средств на газету не нашёл, потому что 19 августа всякие деловые переговоры были немыслимы.

– Что же Вы там видели? Ведь это был исторический день. Рассказывайте, рассказывайте, – торопил Владыка. – Это архиинтересно.

Ширков рассказал всё, чему был свидетелем. И о том, что там, где улица была перегорожена бронетранспортёром или просто пешим патрулём, можно было просто сказать командиру патруля, что ты живёшь в соседнем доме и тебя пропустили, не требуя никаких документов. Патрули выставлены для вида, напоказ.

– Что же Вы, Владимир Леонидович, думаете по этому поводу, какой можете подвести итог Вашим наблюдениям?

– Балаган. Костюмированный маскарад. Нет ни общего плана, ни общего действия. Кто где хочет, ходит, что хочет, говорит.

– Простите, уважаемый Владимир Леонидович, но Вы поторопились с выводами. Никто для балагана войска выводить не будет. Они же не сами вышли из казарм на улицы, согласны?



Ширков кивнул головой, подумав, почему это ему самому не пришло в голову.

– Тем более в столице, в Москве. Ведь это шум на весь белый свет. В Москве аккредитована не одна сотня корреспондентов зарубежных газет. Увидев такое на улицах Москвы, они сразу бросились в свои агентства передавать корреспонденции. А что касается общего плана, действий, то тот, или те, кто затеял происходившее, ни с вами, ни со мной делиться никогда не будут. Что это было, мы узнаем не скоро, если узнаем вообще.

– А Вы что думаете, Владыка?

– Что вы знаете о так называемом, Корниловском мятеже, – вопросом на вопрос ответил Владыка. – Не по учебнику истории, а по новым публикациям.

– Я и по учебнику истории мало о нём знаю, – признался Ширков.

Владыка рассказал, что к лету 1917 года Керенский развалил в стране, что мог, и армия стояла на грани развала. Лавр Георгиевич Корнилов сказал Керенскому, что нужно наводить порядок, иначе всем карачун. Керенский, прожжённая бестия, мигом сообразил, как генерала использовать. Иди, говорит, Лавр Георгиевич, наводи. Моя поддержка тебе гарантирована. Корнилов только начал что-то делать, как Керенский объявил его мятежником и арестовал. В итоге Керенский – Спаситель Отечества от диктатуры. Историческая параллель очевидна. Горбачёв это Керенский сегодня. Перед ним стал вопрос сохранения власти. Истинный автор ГКЧП Горбачёв.

– Но вот вопрос, – говорил Владыка, – кто в ГКЧП Корнилов, кому Горбачёв поручил внедрить идею ГКЧП в умы всех прочих.

Ширков с восхищением и завистью слушал Владыку. Подобный анализ ситуации никак не приходил ему в голову.

– Удар по советской системе нанесён основательный, – сказал Владыка.

– Вам бы, Владыка, политологом, политобозревателем быть.



– Благодарю покорно, – отшутился Владыка, – Но в марксистко-ленинской философии я подкован, как выражались в годы моей молодости на все сто.

– Вы, наверно, и Ленина читали?

– Да, читал.

Ширков даже поперхнулся.

– Вы читали Ленина?

Архиепископ захохотал, ударив белой с полными пальцами, никак не вязавшимися с представлением о пальцах пианиста, ладонью по крышке пианино. Он вынул из кармана брюк носовой платок, промокнул выступившие слёзы.

– Что же Вы, дорогой мой, полагаете, что я родился в сакко-се, с панагией на груди и архиерейским посохом в руке? Ха-ха-ха.

Владыка хохотал так заразительно, по-детски, что и Ширков не удержался.

– Не забывайте, – говорил архиепископ, – что я был профессором в институте, заведовал кафедрой. А перед этим я учился кое-где, читал кое-что и сдавал экзамены, как и все смертные. И среди этого кое-что была история партии. А без истории партии в былое время, как без воды – и не туды, и не сюды. И учился я на совесть, без всяких шпаргалок.

Цербер был выпущен из конуры и, когда Владыка шёл провожать Ширкова, он бегал во дворе, громыхая железным кольцом по проволоке. Увидев Владыку и Ширкова, он не бросился к ним с лаем, а встал на задние лапы и замахал передними, словно приветствуя хозяина и гостя.

– Ах ты, разбойник, – пошёл к нему Владыка. Пёс, мотая опущенной, кудлатой головой, с выражением вины побрёл к Владыке, ткнулся головой в колени, толкал хозяина могучим загривком, махал опущенным хвостом.

– Молодец, молодец, – говорил Владыка, чесал пса за ухом. – Исправно несёшь службу. Молодец.

19 августа отозвалось и в доме возле Владимирской колокольни. Животов радостно говорил, что сыскались же люди, которые попытались остановить падение страны. Внуков



скептически возражал ему. И оба были удручены провалом, арестами членов ГКЧП.

– А как ему было не провалиться, – кипятился Внуков. – Собрались болтуны, а не люди дела. Говорили, выступали, а у самих руки трясутся, как у мелких воришек, удрученных провалом. А люди на них надеялись, ждали. Ну кто такой Язов? Он давно уже ничем не командовал, в министерстве только бумажки подписывал. И все остальные такие. Нет воли на что-нибудь решиться, предпринять. А Ельцин живо на танк взгромоздился и начал речи толкать. Вообще-то, Володя, мне думается, что как Керенский Ленину власть передал, так и Горби Ельцину. Не сам, конечно, заставили. Правды-то нам не говорят. Лет через семьдесят скажут, когда всем до этой правды будет как до лампочки. Предчувствие у меня такое.

– Как ни противно это сознавать, – сказал Животов, – мне кажется, что в отношении нас проведена операция, и никто, ни КГБ, ни МВД, ни ГРУ не оказали этой операции противодействия, или все отупели, или везде были предатели. А ты, Витя слышал, что Солженицын о 19 августа сказал?

– Не слышал, да и слышать не хочется. У него в Вермонте в самой большой комнате, должно быть, устроена стационарная трибуна, как у нас в обкомах, он поутру вскарабкивается на неё и начинает вещать на весь белый свет. Ну и что же он гавкнул?

– Сказал, что это великая Преображенская революция.

– О, словоблуд поганый, – внезапно озлился Внуков, – государство гибнет, а ему, стукачу, сволочи такой, всё хиханьки. Всё ломается, как паяц в цирке. Но недаром Михаил Юрьевич сказал: «Но есть и Божий суд, наперсники разврата».

– Что ты, Витя, его чуть не святым почитают. Какой суд?

– Каким же даром взыскал его Господь, чтобы причислить его к святым? Даром утешения, прозорливости, исцеления недугов? Только одним даром – вранья на свою Родину. Но это совсем по другой, не по божеской части. И хватит, не могу о нём говорить, ни о писателе, ни о человеке. Врал и врёт всю жизнь. И фамилия его с ложью, Бог шельму метит.



Под вечер Роман с Надеждой взяли Сашу из сада и весело шли домой, следя за тем, чтобы заигравшийся сын не выбежал на дорогу.

На полу в сенях они нашли записку.

– Я так и знал, – сказал Роман, подняв её.

– Что такое?

– На работу зовут. Я думал под шумок день – другой посидеть над рассказом. Читай.

В записке извещалось, что завтра с утра Роман должен явиться к Мигунову, а потом ехать в Валерьевское, на объект.

– Ну всё, я так и думала, – сказала Надя, покачав головой.

– Что ты думала? – заранее улыбаясь тому, что она скажет, спросил Роман.

– С работы тебя выгонят, вот что. По статье...Очереди на квартиру – крышка, так и будем век коротать в этой гнилухе.

– Никто меня не выгонит, – улыбаясь и обнимая её за плечи, сказал Роман.

– Он ещё и улыбается. Скажи кому, не поверят. В кабинете у председателя горисполкома драку устроил. У председателя...

– Не думай ты о всяких дураках. Подумаешь председатель. Но Надя долго не могла успокоиться, говорила, что ему это так не сойдёт с рук, что его выкинут из очереди на жильё, лишат тринадцатой зарплаты. Роман не возражал, молча улыбался и, когда Надя выговорила, пошёл с Сашей гулять в сквер через дорогу: катал по тропинке тяжёлый, деревянный с набитыми в него гвоздями шар, а сын ловил его..

Наутро он пришёл пораньше в трест, чтобы узнать, что нужно Мигунову и ехать в Валерьевское. Но быстро уехать не получилось. Мигунов был на совещании у управляющего трестом. Роман ходил по коридору, разглядывал трестовскую доску почёта, выходил из здания треста, курил на улице. Только в одиннадцатом часу зашёл в кабинет к Мигунову.



– Ну что сиделец, декабрист новоявленный, – стараясь напустить на себя суровость, с затаённой улыбкой, говорил Мигунов в ответ на его рукопожатие. – На совещании управляющий и о тебе говорил. У самого первого секретаря обкома о тебе речь шла. Доложил о тебе Ломакин. Ломакину до тебя дела, конечно, нет, это он, чтобы управляющему пистон вставить, какие у него работники. Давай, рассказывай, что у тебя с Ломакиным вышло. Я ведь толком ничего не знаю.

В конце рассказа Романа Мигунов пожурил его:

– Ты, Роман, меня удивляешь. Взрослый человек, отец семейства. Какое тебе дело до кладбища, до чужих покойников. У тебя там кто-то из родовой похоронен? Видишь, никого нет. А вступил в спор с самими председателем горисполкома. Специалист ты молодой, растущий, отзывы о тебе со всех сторон самые положительные. А Ломакин может тебя затормозить, если мы тебя вперёд двигать начнём. Обещай, что будешь вести себя более благоразумно.

– Обещаю, – сказал Роман, но знал, что если что стрясётся, он опять поступит не как надо, а как позовёт сердце.

– Подумай сам, из-за чего катавасия вышла. Ведь посадить тебя могли. Из -за покойников. Зачем они тебе, чужие покойники?

– Они не чужие, – вдруг как-то само выскочило у Романа, – они наши.

– То есть как? Какие наши?

– Наши, русские они.

– Говори с ним. Комсомольские это речи, комсомольские, а ты уже из комсомола вышел. Давно?

– Лет пять – шесть.

– Пора взрослым становиться, а не за правду бороться. Сын у тебя, а ведёшь себя как Павлик Морозов. – Мигунов улыбнулся, вспомнив что-то школьное – Мы на уроках пения клас-се в пятом пели, – чуть фальшивя, он пропел:

Славен Павлик Морозов,
Жив он в наших сердцах.



Презирая угрозы,
Он за правду стоял до конца.

А мы с друзьями пели:

Презирая угрозыск, – и так захохотал, что его большой живот затрясся.

– Ну ладно, Роман, – серьёзно сказал Мигунов. – Шутки в сторону. Поезжай на объект. Управляющий хотел тебя в очереди на жильё отодвинуть, коль дело до обкома дошло, надо ведь доложить, что меры приняты. Но мы за тебя встали, так что управляющему удалось только тринадцатой тебя лишить. Ступай.

На заводе ЖБИ Роман сел в самосвал, который вёз бригаде Думенкова бетон, и поехал в Валерьевское, думая в дороге о том, что Надя-то едва не оказалась права, но больше всего дивясь тому, как у него сами по себе, внезапно, как из засады, выскочили слова о своих покойниках.

Громкоговоритель на флагштоке на всю округу пел о том, что «Соловей российский славный птах». Бригада Думенкова обедала в вагончике.

Кто хлебал суп из стеклянной банки, кто ковырял вилкой картошку, разогретую на плитке, кто-то уже пил чай, все, как пишется в военных уставах, принимали пищу.

Когда Роман зашёл вагончик, первым его увидел Думенков. Роман в следующий же момент понял, что допустил ошибку, нужно было дожидаться конца обеда, когда бригада выйдет из вагончика и разойдётся по своим местам работы, но было уже поздно. На лице, увидевшего его Думенкова, выразилась такая радость, такой азартный огонь вспыхнул в его глазах, словно у охотника, увидевшего добычу. Роман даже сделал было шаг назад, чтобы покинуть вагончик, но не успел. Думенков, положив ложку на стол, вдруг заорал ненормальным голосом, в котором помимо радости звучало какое-то сладкое злорадство:

– Встать! Смирно!



Многие вздрогнули, так неистов был этот вопль, но, увидев мастера, тоже все вскочили и заорали нечто неразборчивое. Каждый вопил что-то своё, но радостное.

– Вы чего, дурачки, что ли? – смущённо сказал Роман, когда все умолкли. – Прибегут ведь из прорабской, подумают, что вся бригада целиком рехнулась.

Ловя устремлённые со всех сторон на него взоры, Роман видел, что ему действительно рады, и мысль о каком-то братстве, солидарности, вдруг сверкнула в голове.

– Да, полно, Рома, – впервые так сказал Думенков, – не прибежит никто. Им до нас и дела нет. Расскажи лучше, как ты там, в лягавке-то две недели воду мутил.

– Во-первых, не две недели, а меньше пяти дней. А во-вторых, Роман замылся: что скажет он им, он не чувствовал себя героем да и не был им. Мужики как бы и довольны, что его замели в лягавку, не им одним туда залетать, но они жалуют его. Может быть, даже и гордятся, ведь попал он туда не по пьяни с улицы, а из-за спора с начальством, против власти пошёл.

– Да что тут говорить, – махнул он рукой. – Спасибо, вам, конечно, что переживали за меня, но не будем больше об этом.

После обеда он с Думенковым прошёлся по местам, где работала бригада, увидел, что за эти дни сделано много. Беляев вышел на двадцать третий метр трубы.

– Не сачковали, работали, как надо, – сказал Думенков.

– Что ты говоришь, Саша. У тебя не посачкуешь.

Думенков хмыкнул, показав, что похвала мастера приятна ему.

А вечером после работы, взяв в саду Сашу, Роман приехал на Горбатый мост.

На невредимом, тихом кладбище так же колыхали своими ветвями кусты бузины, ивняка, стояли тополя и берёзы, пели кладбищенские птицы, а по дорожкам шли люди.

«Стоило, прости Господи, бузу затевать, – подумал Роман, уводя сына, и проведённые им в заключении сутки, показа-



лись ему пустой тратой времени и даже какой-то стыд испытал он, вдруг вспомнив безобразную сцену в приёмной Ломакина.

Видимо, было бы несправедливо мазать Ломакина одной грязной краской, считать его хамом, держимордой и т.п. Конечно, большинство людей он презирал и считал ниже себя, но добрую память о себе оставить хотел. И делал малые добрые дела там, где ему это ничего не стоило. Он помог поставить телефон престарелой преподавательнице из педагогического института Лукашевич, высланной из Ленинграда в 1934 году, всю жизнь ютившейся по съёмным комнатам и только под старость получившей своё жильё. Наслушавшись рассказов о грубом председателе, хаме, ругателе, она шла к нему с трепетом, держа в сумочке поближе таблетки корвалола.

Всем, кто в последствие при ней отрицательно отзывался о Ломакине, она возражала своим тихим, запуганным в 34-м году, голоском:

– Не говорите о нём так, вы совершенно не знаете его, он заботливый, душевный человек. Побольше бы таких.

Ломакин встретил её у порога кабинета, предложил руку, усадил в кресло у стола, сам налил стакан чая, внимательно выслушал просьбу, тут же, как говорится, не отходя от кассы, позвонил на телефонную станцию, приказал своему шофёру отвезти её домой. У крыльца дома её уже поджидал монтёр с телефонки, телефонная эпопея, длившаяся более десяти лет, для Надежды Андреевны была решена за час.

О телефоне Роману рассказала Надя, учившаяся заочно в пединституте и ходившая на дополнительные занятия к Лукашевич на дом.

XXV

После августа дни полетели быстрее, как это обычно бывает во втором полугодии.



Волны воцарившегося в стране предательства и безначалия продолжали дробить государственный утёс. 30 августа распущен Комитет государственной безопасности, одна из скреп государства, обеспечивавшая его надёжность и устойчивость, а правительство СССР отправлено в отставку; ссылаясь на существование секретных протоколов к советско-германскому договору, которых никто в глаза не видел, и как будто наличие их имеет какую-то государствообразующую силу, в сентябре была предоставлена независимость прибалтийским странам, землям, которые некогда царь Пётр купил за наличные у иноземной державы; воспользовавшись лозунгом Ельцина, более присущим главарю разбойничьей шайки, нежели главе государства «берите суверенитета, сколько проглотите», маленький, но заносчивый чеченский народ объявил о своём суверенитете⁸.

Советский народ, не понимавший, что происходит, лишённый в результате событий 19 августа организующей силы, которой долгие годы, была коммунистическая партия, молчал.

Но 8 декабря произошло событие, всколыхнувшее все три мира: вышний, земной и подземный. В Беловежской пуще, древнем заповедном лесу, освященном памятью русских царей, охотившихся и отдыхавших тут, было подписано соглашение, положившее юридический конец существованию великой державы. В декабре 1921 года был законодательно создан Союз Советских Социалистических Республик, страна, которую любили или ненавидели, в которой угнетённые народы мира видели своего заступника и защитника. СССР образован был в исконной столице государства после торжественного собрания, в радостном многолюдье, под звучащую музыку и радостные голоса, приветствовавших рождение новой советской цивилизации.

Для соглашения о его гибели выбрали место малолюдное, почти пустынное, какие обычно шайки находят для совершения дел гнусных, проклятых. Соглашение о расчленении Со-

⁸ Ельцин фактически выступил подстрекателем двух чеченских войн, когда погибли и были искалечены тысячи русских и чеченцев.



юза (как тело человека) наиболее прозорливые и чуткие называли расчленением державного тела. В мрачном захолустье жалкая кучка умственно неполноценных, тупых и трусливых людишек, при практически круглосуточном повальном беспробудном пьянстве подписала документ. Не было ни торжественных маршей, разве что звучали пьяные кабацкие песни, больше похожие на волчий вой или рёв собачьей стаи, приправой к которым служили похабные, матерные анекдоты.

Три гнома, трясушимися от перепоя руками нацарапали свои фамилии, в редкие мгновения просветления сознавая, что творят, и водкой, песнями и анекдотами давили в душе светлые лучи.

В подземном мире, в преисподней, где кипит, клокочет и курится удушливым, тошным дымом чёрная злоба, несмотря на дневную пору, когда большинство бесов и чертей отдыхают, раздался дружный вопль ликования. Кричали проклятия младшие, средние, старшие и высшие бесы, сам сатана ликовавал, что развалилась проклятушая страна.

«Но ведь не в первый раз», – стиснув чёрные гнилые зубы, прохрипел он, чтоб не услышали присные.

Наполеон, весь позеленевший от мышьяка, которым много лет усердно травили его англичане, удовлетворённо потирал свои беленькие, не знававшие физической работы, ручонки.

Ликовал в котле с кипящей смолой весь в облезшей коже Гитлер; плясал с верёвкой на шее генерал Власов; изменивший присяге и предавший своего президента американцам, жалко хлюпал в инвалидной коляске Пиночет (Господь хоть и многомилостив, но не жалует продажных шкур); трясущийся, как в лихорадке, шамкал какие-то помойные слова Рейган. Ликовали все ненавистники православия, сделавшие России малые и крупные гадости и преступления; всё иудино семя, переметнувшееся на сторону врага и продававшее ему государственные и военные секреты.

С пронзительным визгом и свистом отжаривали рок-н-ролл тощие, костлявые, безобразные ведьмы, собравшиеся на внеочередной и чрезвычайный шабаш на Брокене.



А на земле неприкрытую радость проявляли те, кто не одно столетие мечтал, чтобы русская юдоль жила по их правилам и мерилам, чтоб не совала свой нос с помощью и добрым словам к нациям, которым раз и навсегда предписано быть нациями третьего сорта, нациями, подневольных рабочих, лакеев, слуг, посудомоек, проституток, преступников и спортсменов.

Скорбели о случившемся народы в Африке, Азии и обеих Америках, которые, благодаря силе России, могли чувствовать и жить равноправными людьми, ведь Россия никогда не кормила чернокожими невольниками акул в океане, не сбывала индейцам одеял, зараженных оспой, не использовала алжирцев в качестве вьючного скота.

Скорбели и не скрывали слёз о гибели советской страны советские люди, созидавшие могучую родину вольных людей, строившие чудо-фабрики и колоссальные заводы, прокладывавшие железные дороги по вечной мерзлоте и в пустынях Кара-Кум, плакали солдаты, отстоявшие Родину от врага под Москвой, Сталинградом и Курском, бойцы, штурмовавшие Варшаву и Будапешт, освобождавшие Белград и Прагу, бравшие Кёнигсберг и Берлин.

И было нерушимо тихо в вышнем мире. Там так же продолжалось немолчное пение херувимов и шестокрылатых серафимов. Так же стояли у Подножия Господня трона осиянные его несказанной славой сонмы и сонмы святых угодников Божиих, сподобившихся за своё честное и непорочное житие лицезреть безграничную и беспредельную Славу Божию.

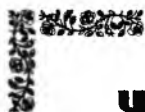
Никто из святых угодников (а были их миллионы) не оглянулся на ликующую, достигнувшую даже высот райских бесовскую визготню, не омрачилось чело смиренных мучеников и праведных дев, не шевельнулась ни одна складка на сакко-сах блаженных святителей, не затуманились взоры у благоверных великих князей и царей, постников, исповедников, не омрачилось чело у благоверных князей и царей, водивших дружины и полки в бой за веру православную, власть самодержавную, за русскую землю.



Святым было ведомо о свершившемся на земле, но они верили, что Господь ведёт свой возлюбленный русский народ Одному Ему ведомым тернистым путём через испытания и беды к великому царству, к той небесной красоте, какую ни глаз человеческий не видел, ни ухо человеческое не слышало.



ГОД ВТОРОЙ



Жили-были



Пройдут года, настанут дни такие...

М. Исаковский



I

Тиховодску насчитывалось более восьми веков. Век от века он менял свой облик. Когда-то среди его сплошь деревянных строений появилось первое каменное здание – величавый, высившийся над всеми домами и тополями, Успенский собор. Менялись эпохи, архитектурные стили, появлялись гражданские здания и храмы, носившие на себе отпечаток времени, но город сохранял своё народное лицо. Русским город оставался не только по своему названию, но и по духу.

И во второй половине XX века, когда осовременивание (модернизация) старины стали повсеместны, он сумел сохранить свой облик, свой русский дух и суть. В его деревянных домах, уютных двориках, в которых и через сто лет Поленов нашёл бы благодарный материал для своей кисти.

Революция, гражданская война и первые послевоенные годы не тронули его, только были снесены некоторые храмы, но и в 60-е годы это был город – чудо, город-сказка, о котором слагали стихи и пели песни.

После войны страна восстановила разрушенное, начали осваивать открытые до войны месторождения нефти и газа, появились деньги не только на создание танков и самолётов, стало больше выделяться средств на строительство жилья, на городские нужды. В Тиховодск по приглашению властей приехали проектировщики, которые никогда не жили в нём и не любили его. Но здесь можно было зашибить хорошую денюгу. Проектировщики и власти заведомо уговорились, всё деревянное – хлам, рухлядь, старьё. Сами деревенские люди по



происхождению, власти всё деревянное считали вчерашним днём, отжившим своё. Они пришли новые, современные, они должны всё сломать.

Старому городу, старой архитектуре была объявлена война, но город об этом не знал. Была объявлена война русскому духу, но об этом по своей неразвитости, душевной глухоте не знали люди, объявившие войну.

Город сносили с какой-то жадностью, словно давно мечтали избавиться от своей русскости, чтобы стать похожими на всех.

Напротив Успенского собора на берегу был построен сарай. От обычных дощатых сараев, он отличался одним, он был целиком стеклянный. Ничего подобного в Тиховодске не видели, поэтому в горисполкоме его объявили памятником современной архитектуры и водили к нему туристов. Но туристы восторгов не изъявляли.

Архитектура – важнейшее искусство, недаром древние греки и римляне ценили её наравне с литературой. Рядом с Гомером и Вергилием живут имена создателей Парфенона и Пантеона.

Город ломали такими темпами, что даже американский фотограф сказал с горечью, что Тиховодск из образца провинциальной романтической архитектуры, превратился в заурядный город, место обитания, скопище домов, соединённых на участке земли без мысли и без образа.

Когда в центре города осталось столько домов, что их можно пересчитать, как пальцы на руках, глава области сказал, что надо беречь деревянную архитектуру. Так же, только когда истребили почти всех индейцев, их вздумали охранять.

Снесли сотни домов, оставили несколько кургузых отрезков с двумя- тремя особняками на них и стали даже проводить конференции по сохранению деревянной архитектуры, хотя честней было бы проводить их на другую тему: «Как за несколько лет истребить то, что созидалось веками». На конференции приглашали писателей, краеведов, но не всех. Тех, кто не способен умиляться огрызками улиц, которым сняты дома красоты неопишуемой, но которые сожжены в печах, тех не звали, ибо они могут испортить фуршет.



В Тиховодск приезжали туристы, обманутые песней и с чувством человека которого надули, спрашивали: а где же резной палисад?

...Летней ночью, когда над рекой тюлевым покрывалом расстилается белёсый туман, когда людям снятся протяжные, как былины, сны, когда растения и цветы отдыхают от дневного зноя и жадно дышат ночной росистой сыростью, когда молча дремлют во влажных косынках измороси тяжеловесные колокола, и с Успенской колокольни виден весь разросшийся город с его пригородами и огородами, неподалёку от города вместе с туманом встают над землёй 37 теней и идут в город. Они идут быстрее мысли, они мчатся в родной город, город их детства и юности, город, напоённый юношескими мечтами «о подвигах, о доблести, о славе», город освящённый первой любовью многих из них. Не отпетые, не погребённые по церковному чину, они обречены скитаться странниками над родной землёй. Есть среди теней и такие, которые попали в город случайно, жили здесь всего лишь неделю. Тени спешат в историческую часть Тиховодска, ведь им неизвестно, что город разросся, для них он навеки, навсегда, до того дня, «когда услышат глас мертвые и оживут», остался таким, как в тот день, когда их арестовали и повели на расправу.

Вина их заключалась в том, что они сильно любили Россию, чуть сильнее того, чем можно было в то опасное время. На этом, на любви к Родине, их ловили, холодные люди организовывали заговоры против Советской власти, которые сами же и раскрывали.

Расчёт делался на наивность людей, веривших в слово чести офицера и не подозревавших, что есть люди, для которых, по словам писателя Достоевского, честь – лишнее бремя. Сперва сеялся слух, что где-то собираются офицеры, чтобы поднять восстание против новой власти. Слух струился на рынках, в распивочных, на загородных лужайках, становился реальностью, обрастал плотью, доверчивыми молодыми офицерами неискушёнными во лжи, интригах. Накануне назначенного дня выступления всех поголовно



арестовывали, через день – два после кратких допросов убивали, а в Москву по проводам летела победная шифровка, по итогам которой списочно высылались награды. Позднее подобные истории облекут в ореол легендарности, включают в учебники истории для школьников об отважных и мудрых чекистах и об их вожде – железном Феликсе. Эти же истории, очистив от литературной мишуры, помещали в учебники для закрытых школ в главу «Организация контропераций» (провокаций).

II

– Ну, как там наш генерал? – спросил Внуков.

– Не генерал он уже. – ответил Животов.

Внуков отнял трубку от уха, посмотрел на неё.

– Как не генерал? Разжаловали что ли?

– Нет, – засмеялся в трубке Животов. – В отставку отправили.

– Тогда другое дело. А то из генералов разжаловали только при товарище Сталине.

– Не только при нём. И при Никите случалось, Штеменко, Варенцов, Серов, например.

– Сравнил тоже, Никиту со Сталиным, олигофрена с умным. Ты что звонишь?

– О генерале и звоню, да ты договорить не даёшь. Ты дома?

– Что за вопрос, раз трубку снял, значит, дома.

– Никуда не уйдёшь?

– Вот манера, как ты говоришь, из человека жилы тянуть. Хочешь придти, так и скажи.

– Я с Петром.

– Жмите.

Через десять минут, запыхавшиеся, нахохлившиеся Владимир Степанович и Петя звонили во внуковскую дверь.

– Вы с ума сошли, – всплеснула руками открывшая им Анна Григорьевна. – на улице морозина, а они безо всего.



– Уж и морозина, – дрожащими губами возражал Животов, – минус двадцать пять, а нам и всего-то из подъезда в подъезд перебежать.

– Тебе, дубу морёному, ничего не сделается, а ребёнок, – Анна Григорьевна привстала на цыпочки, чтоб поцеловать Петю в щёку, – совсем замёрз.

– Полно, мать, юродствовать, – смеялся, наблюдая за всеми, Внуков. – Этот ребёнок тебя на голову перерос, на сколько ещё перерастёт. Ну что твой генерал? – спрашивал он уже в кабинете. – Хоть в отставке, да генерал.

– Эх, Витя, – Животов следом за Петей вошёл в кабинет Внукова, – разница между действующим, рабочим генералом и отставным, как между свежим огурцом и маринованным.

– А что, маринованный огурчик с похмела самое то, – Внуков, подмигнув, засмеялся. – Ну что с генералом-то, он ведь долго служить собирался.

– Мечтал генерал – лейтенантом быть, да ему август девяносто первого аукнулся. Я уж тебе говорил, что он призывал ГКЧП поддержать, к тому же пришёл слегка под мухой, в отпуск себе позволил.

– Свои же и стукнули? – покачал головой Внуков.

– Контора остаётся конторой, в ней прав не тот, у кого много прав, а кто первый стукнет. Дали ему из уважения дослужить до дня рожденья, он у него в день смерти Ильича, а на другой день приказ об отставке и премия – годовой оклад.

– Слышь, Аня, – сказал Внуков, – вот бы куда служить идти, а не в писатели. Штаны с лампасами и денег куча. Да со штанами, да с такими деньгами, за мной все бы девки бегали.

– Все бы девки, молчал бы уж, – сказала Анна Григорьевна. – Старый пень, а туда же.

– Чучков дела сейчас сдаёт и говорит, – продолжал Животов, – что заведующая архивом обходной ему не подписывает, он теперь не генерал для неё, цыкнуть на неё не может, а за ним пластинки числятся. Вот и просит он их принести. Я тебе про это и звонил.

На лицо Внукова набежала тень.



– Что, Витенька, – первой увидела это Анна Григорьевна, – Что с тобой?.

– Я уже привык к ним. Своими стал считать, – глухо, с нахмуренным лицом проговорил Внуков.

Анна Григорьевна взяла мужа под руку, гладила её.

– Он ко всему быстро привыкает и растает с трудом. Когда мы сюда переезжали со старой квартиры, так он целую неделю плакал, прощался.

Петя смотрел на Внукова и ему не верилось, что слёзы Внукова – это правда. Он ведь старый.

– Давайте, напоследок послушаем, – предложил Животов, – а то мы всё урывками, набегам, так до конца и не дослушали. Чем там всё кончилось?

– И так понятно, чем кончилось, расстреляли его. Это про большевиков писали, попавших в плен к красным: чудом избежал расстрела. А про белых, попавших к красным, надо было писать: чудом не избежал расстрела.

Все молчали, один Петя сказал:

– Я не понимаю. Какая-то бессмыслица: чудом не избежал...

– Чего тут понимать, Пётр, а нам ещё говорят, что ты умный, – в непонятном для всех раздражении почти кричал Внуков. – К красным попал, так будь покоен, расстреляют. Как твой любимец поёт: «Кроме мордобития, никаких чудес».

– Высоцкий не мой любимец, – возразил Петя.

– Хотите послушать, послушаем, – оставив без внимания вызов Пети, сказал Внуков, снимая с патефона чехол.

– Ты прав, Викторин, – сказал Животов, – расстреляли его. У нас в архиве управления документ есть об этом.

– А я что говорил? Красные шутить не любят. Ваше слово, товарищ маузер, и отправляйся в штаб генерала Духонина.

Снова закрутился чёрный диск пластинки. Снова опустилась на него игла.

Каждый из слушавших по-своему представлял помещение, в котором происходил разговор, кто-то обычной комнатой, кто-то просторным кабинетом, но все независимо друг от друга видели его помещением с плотно занавешенными ок-



нами, в котором горит только электрический свет, ни лучику уличного света не было доступа сюда. Разговаривающие разделены большим столом на толстых точёных ножках.

– Что же мне с тобой делать? – сквозь шипение и хрипы звучало с пластинки, – Отпустить бы тебя надо, человек ты грамотный, законы знаешь, говорить хорошо умеешь, пригодишься. Нравишься ты мне.

– Нет уж. Или вы меня расстреливайте, или я выйду из подвала вашего, и сразу кого-нибудь из ваших убью, или на Дон уйду. Не могу я жить под Вами.

– Что ж так? Советскую власть не любите?

– А что это власть за такая? Откуда она взялась? Кто её звал? Что за чудо-юдо такое? Явилась, и извольте слушаться. Как вы думаете: могу я спокойно жить, когда каждую ночь вы людей на расстрел выводите? Я такого в подвале насмотрелся да наслушался, что диво дивное, как рассудка не лишился. Рыдания, слёзы потоком, Ниагары слёз. Кого расстреливаете? Мирных жителей, которые жили, беды не знали, вдруг явилась власть советская, извольте покоряться... Да почему я, человек свободный, должен её слушаться? Ах, не хочешь, тогда пожалуй под расстрел. Вы за что девушку 16-летнюю третьей ночью расстреляли. Клянете царскую власть, а при ней детей не расстреливали. Когда одну из убийц государя Александра Освободителя к верёвке присудили, она в тюрьме срочно забеременела, знала русские порядки. И я буду служить, знания свои вам отдавать. Вот вам! Нет, погибну, как русский человек, а вашей власти жидовской я не попутчик. С вами, хриstopродавцами, мне не по пути.

– Вот ты как запел, белогвардейская курва. Надо было давно тебя шлёпнуть, а не разводить турусы на колёсах.

Раздался шум, грохот, ругань, крики появившихся других голосов, иголка ещё пошипела и соскользнула с края пластинки.

– *Finita la comedia*, – сказал, глядя за окно, Внуков.

– Нет уж, – не согласился Петя. – Трагедия.

– А ты чего, плачешь? – посмотрел на него Внуков.

Петя, положив пальцы на край патефона, молчал, и по щекам его текли слёзы.



Лицо его не было искажено гримасой боли или страдания, обычно сопутствующих слезам, он стоял, и слёзы текли как будто отдельно от него.

– Петенька, мальчик мой, – кинулась успокаивать его Анна Григорьевна, но Петя сам справился с внезапно вступившими в глаза слезами и через мгновение сам утирал слёзы платком и, смущаясь, просил прощения.

– На, передай своему генералу, – Внуков укладывал пластинки в пакет, – передай моё сочувствие, что интриганы не дали ему лейтенантом стать, и не забудь напомнить, что весной, уж пообсохнет, – Викторин Андреевич рассмеялся, – поедем с ним на рыбалку.

– Как ты знаешь, что Чучков любит рыбачить? – искренне удивился Животов. – Когда ты успел с ним об этом поговорить?

– У нас, рыбаков, есть свои тайны, секретные знаки, по которым мы, как масоны, узнаём друг друга, – говорил Внуков, – И вспомни русскую поговорку о том, кто кого видит издалека.

III

В новогоднюю ночь Роман уступил настояниям Саши и после встречи Нового года дома, посадил его на санки и вместе с Надей они поехали к городской ёлке в центре, где всегда после полуночи собиралось много народа, пели песни, танцевали под гармошку, встречали друзей, знакомых, выпивали с ними и обменивались новогодними поздравлениями.

Наугощавшись и напоздравлявшись, они уже собрались домой, как вдруг кто-то сзади крепко вдарил ему по плечу. Роман было собрался рассердиться, плюха-то была увесистая, от души, обернулся и увидел Генку Шильмана, друга юности и товарища в многочисленных приключениях. Стали радостно обниматься. После двух стопок водки Шильман сказал ему:

– Ты когда зайдёшь ко мне? Ведь обещался. Смотри, увезут их скоро.

– Кого увезут? – спросил Роман. – Ничего не секу.



– Как кого, – выпуская дыханием клубы морозного пара, смеялся Шильман. – Покойников твоих, которых ты по весне раскопал. Грозился зайти, а не идёшь..

– Совсем, совсем забыл, – признался Роман. – Скоро зайду.

– Не тяни, серьёзно тебе говорю.

На Советском проспекте около тридцати лет назад напротив старого здания морга, кирпичного здания со швами в расшивку, параллельно ему выстроили такое же длинное, но с большими окнами здание лаборатории судмедэкспертизы.

Свернув с Советского во двор морга, Роман вспоминал юношеские годы. Поступив вместе с Генкой в строительный техникум, они, по законам советского времени, начали учёбу с выезда в колхоз. В деревню Рослятино. Спали вповалку на полу избы, ели картошку и плохо пропечённый в колхозной пекарне хлеб. Изнеженные городские желудки ночью шумно протестовали против варварской, деревенской пищи.

Работали дружно, весело, сила была через край. Дёргали лён, турнепс, возили мешки с зерном в овин. Однажды их с Генкой попросили отвезти две пустые молочные тары из одной деревни в другую. В конюшне конюх запряг им лошадь, старую костлявую клячу в одноколку с высокими бортами, в которую они с Генкой еле поместились. Лошадь оказалась с норовом, когда хотела, тогда и останавливалась, не слушаясь ни «тиру», ни «ну». Езды было с час и они стремились попасть на футбол: после рабочего дня в заброшенном сарае они полгруппы на полгруппы рубились в футбол. Аутов не было, но беготни, возни и толчков было хоть отбавляй. Однако колхозная кляча срывала их планы, она больше стояла, чем шла. В одну из остановок Генка сказал:

– Ромка, ты знаешь, как по-украински поётся ария Ленского?

– Нет.

Генка, привстав в телеге, заныл дурашливым голосом:

– Паду ли я дрючком пропертый,

Иль мимо прошпиндерит вин?



Он захохотал так громко, что задремавшая посреди широ-
ченной лужи лошадь, вздрогнула и пошла, не останавливаясь
до самой деревни.

Роман зашёл на крыльцо лаборатории. Вахтёра не было. Он
толкнул дверь и пошёл длинным коридором, в который выхо-
дило много дверей. Его сразу обдало аптечно-больничным за-
пахом лекарств, которые перебивал острый запах хлорки. Перед
его приходом в лаборатории вымыли пол, линолеум в коридо-
ре ещё был влажен. В приоткрытую дверь одного кабинета он
увидел какие-то стеклянные сосуды с человеческими органами
в них. Он не знал, что за органы и человеческие ли они, но иных
не могло быть, он же не в ветлечебнице. Романа передёрнуло.

За его спиной открылась дверь и женский голос спросил:

– Молодой человек, вы к кому?

– Мне бы к Шильману, – обернувшись, сказал Роман.

– К Геннадию Аркадьевичу, – сказала женщина в свитере в
обтяжку, – третья дверь направо.

– Рома, привет, – с улыбкой приветствовал его друг.

– Привет, Гена, – сказал Роман, а я только что вспоминал,
как ты меня просвещал, как Ленский по-хохляцки звучит.

– Это когда мы с тобой в телеге – навознице ехали? Помню,
помню... Ещё я на мотив из «Серенады солнечной долины»
пел тебе собственного сочинения опус «Подарил мне дедушка
портянку».

– Точно, – захохотал Роман, – Наслушалась от нас в тот день
бедная кобыла.

– Да уж, конечно, – подтвердил Гена. – Не матюгов. Пом-
нишь, как конюх, который этого Буцефала запрягал, столько
на него матюжищ вывалил, что я чуть было не впал в ступор.
Как среднестатистический советский юноша, к восемнадцати
годам, я сам наслушался их изрядно, но тогда, это было сродни
извержению Везувия или нет, Кракатау. Чай, кофе?

«Ну, народ» – подумал Роман. В соседней комнате в откры-
тую дверь он увидел на тележке торчащие из-под простыни
голые ступни трупа.

– Нет, спасибо, я только что дома напился.



– Как хочешь, – Гена включил электрочайник и заварил себе чай. – Ну, рассказывай.

После того, как Роман рассказал всё о своей семье, о Саше, о том, что они ждут прибавления, а Гена в свою очередь ознакомил его со своей жизнью, у него оказалось уже двое детей, сейчас он занят оформлением диссертации на тему (название было таким заковыристым, что Роман его тут же забыл), только после всего этого, занявшего больше часа времени, Гена докуривая сигарету, спросил:

– Ты живёшь-то по-прежнему в деревянном доме, в халупе этой?

– Не халупа, – не дал в обиду свой дом Роман, – а дом старинный. Правда, он почти сгнил, никто его не ремонтирует, но я им доволен. Почти в самом центре, всё под рукой.

– Не халупа, не халупа, я не знал, что ты так отреагируешь.

– А ты чего спросил?

– Может, загляну как-нибудь, а то еду на работу утром, автобус мимо идёт, всё тебя вспоминаю.

– Приходи, посидим.

– Обязательно. – Гена закурил, – Ну, теперь о твоей братской могиле.

– Братской могиле? – переспросил Роман. – Вы это так называете?

– А как иначе? Если офицеры или солдаты захоронены, могилы братскими издавна именуются.

– А как вы узнали, что там офицеры похоронены?

– Узнали, – недовольный, что сказал лишнее, уклончиво ответил Гена. – Пройдём в демонстрационный зал.

Из кабинета Шильмана они прошли в соседнюю комнату, которая была ровно в три раза больше кабинета Гены, потому что в ней были три больших окна, а в кабинете одно. Середина комнаты была пуста, столы с микроскопами и иными приборами располагались вдоль стен. Посередине комнаты лежало много скелетов, считать которые Роман не стал. Их было 37.

– Итак, что мы имеем, – тоном преподавателя, выступающего пред студентами мединститута в анатомическом театре, на-



чал Шильман. – Что нам известно достоверно, то есть, что мы можем утверждать бесспорно. Тридцать семь мужских скелетов.

– А как вы узнаете, что скелеты мужские.

– Ну это элементарно, Ватсон. Остеология, наука о костях прошла такой длительный путь, что сейчас со стопроцентной уверенностью можно установить расу, пол и возраст человека по его костям. Благодаря новейшим открытиям мы можем по пигментации костей довольно точно определить время смерти. В нашем случае это девятнадцатый – двадцатый годы.

– Как? А в газетах пишут: сталинские репрессии.

– Газеты, дорогой Рома, говоря по-научному, занимаются дезинформацией, а по-простонародному, как в пивнушке, врут. Им платят за это, они и врут. Ещё скажу тебе по секрету, это служебная тайна. Нам известны фамилии убитых: Макшеев, Неелов, Борковский, Винтер, Волков и т.д., дворяне все, но ни один скелет идентифицировать невозможно, на лбу же не написано, как мёртвого фамилия.

– А как они были убиты? – спросил Роман. – Расстреляны?

– Это самый сложный вопрос, здесь мы вступаем в область догадок, предположений. Я сейчас протоколы эксгумации пишу, где описываю каждый труп. Следы от огнестрельных ранений обнаружены у четырёх человек. Но в затылочной части черепа ни одного следа от пулевого ранения нет. Об остальных можно строить гипотезы, или пуля попадала в грудь или в живот, или их кололи штыками, и они умерли от потери крови. Конечно, экскаватор кости пошевелил. Но причину смерти одного человека установить можно весьма точно. Все тела лежали в ряду, а один лежал отдельно от всех, на краю. Сейчас я тебе его покажу, – Геннадий подошёл к одному трупу, снял лёгкую простыню, которой он был укрыт. Это был скелет человека, лежащего на спине. Кости были тёмно-кофейного цвета, без ступней. Скелет был такой хорошей сохранности, хоть демонстрируй его публике. Но правая ключица и рёбра были переломлены.

– Этот скелет удалось восстановить полностью, – говорил Шильман. – Мужчина, европеоид, 30–35 лет. Ступни восстанавливать не стали, их нужно нанизывать на проволоку, но



они ничего не дают. А вот и причина смерти. Видишь, сломана ключичная кость и первые три ребра. – Гена положил на промежутки сломанных костей ручку. – Догадываешься?

Роман, словно оцепенев, не мог оторвать глаз от скелета, ему думалось, и чуть ли не виделось, что это был живой человек.

– Его зарубили, – холодея от своей догадки, не прошептал, а вдруг пропавшим голосом просипел Роман.

– Совершенно верно.

– Саблей?

– Ну не мечом же. Шашкой скорей всего.

– Скажи, чем шашка от сабли отличается.

– У шашки нет гарды и дуга изгиба клинка меньше, чем у сабли.

– Ты составишь акт и что дальше? Его напечатают? О нём узнают?

– Вряд ли. Акт будет пространный, страниц на двадцать-двадцать пять, со специальными терминами. Это документ для служебного пользования, закрытая информация. Не думаю, чтобы его стали печатать. Может, какое-нибудь краткое сообщение для прессы и будет. Готовить к похоронам их будут. И вообще я показал тебе как другу, не говори пока никому. Лады?

Роман вышел из лаборатории, охваченный странным чувством. Всё вокруг него стало иным, воздух, и звуки, и даже солнце светило как-то по иному, по-новому. Из здания морга в ритуальный зал занесли гроб, прошёл священник в рясе, с крестом на груди и фиолетовой шапочке на голове, толпились родственники, друзья покойного, запахло кадильным дымком, слышались звуки панихиды..

Он вспоминал свою жизнь, как ходил в школу, пел песни о счастливом детстве, водил хороводы вокруг ёлки, получал подарки, ходил в судомодельный кружок, строил модель броненосца «Потёмкин Таврический», учился в техникуме, играл в футбол, служил в армии, стоял на посту, пел на полковой поверке строевые песни, женился, у него родился Саша, а они лежали, и никто о них не знал, не помнил. А когда их убили, сколько пролилось горьких, безутешных слёз. И зарыли их, как собак,



как мусор какой-то, ни креста, ни памятного знака. А к океану скорби и горя, которым и так залита Земля, прибавилась ещё одна горстка.

Он шёл по Советскому проспекту мимо Петровского дома, пристани, обойной фабрики – бывшей церкви – и не мог перестать думать о них, безвестных людях, о которых никто никогда ничего не узнает.

IV

Жизненный путь владыки Михея, или как он любил выражаться по латыни *circillum vitae*, был во многом типичным для советских архиереев.

Родился владыка Михей в Царском селе, в ту пору лишённым своего исторического имени и именовавшегося Детским селом. Мать работала учительницей литературы в местной школе, а отец инженером-теплотехником в крупном ленинградском вузе. В душе мальчика после Бога на втором месте по степени почитания и любви, стоял Пушкин. Сотни раз он бывал в лицейском музее, многие произведения поэта знал наизусть. Семья была православная, каждое воскресенье и двенадцатые праздники безоговорочно посвящались храму. С детства в нём жило чувство влечения к божественному, церковному. Миша пел на левом детском клиросе, прислуживал алтарником, его любимой фотокарточкой, с которой он не расставался до смертного одра, была та, на которой он заснят в длинном, до пола, стихаре и с кадилом в правой руке.

Вера подверглась жестоким испытаниям. Церкви в Царском селе были закрыты, нужно было ездить в Ленинград, где за профессорами следили, не посещают ли они храмы.

Миновали тяжелейшие тридцатые годы, когда при виде творившихся кощунств не одно молодое сердце задавалось вопросом о всемогуществе божием, когда среди бела дня свержались церкви, сбрасывались колокола, а морально ущербный Емельян Ярославский (Губельман) без зазрения совести пи-



сал, что мужские монастыри являются рассадниками гомосексуализма. Но Бог поругаем не бывает, скоро грянула война, а в сентябре 1943 года Сталин принял в Кремле митрополитов.

На фронт Миша не попал из-за сильной близорукости, окончил институт, защитил кандидатскую, возглавлял в родном институте, где некогда блистал его отец, кафедру, и к пятидесяти годам был членом всяческих комиссий, как в институте, так и в городе. Он был любимым аккомпаниатором на всех институтских вечерах, несравненным конференсье, всегда умевшим прокомментировать выступление уместной и остроумной цитатой из Пушкина. А сколько молодого юмора, находчивости, искромётных реплик, повергавших в хохот весь институтский зал, он проявлял, когда в виде исключения был выбран капитаном институтского КВНа.

– Михаил Николаевич. – на другой день после триумфального КВНа, – говорил Югину, угощая его армянским коньяком, ректор института. – Вы похоронили в себе артиста.

Югин ответил:

– Вы знаете, уважаемый Дмитрий Иванович, супруга моя, Екатерина Михайловна как-то весьма остроумно подметила, что я ходячее кладбище нереализованных талантов. Я уж не говорю, что я похоронил в себе Нейгауза, но стоит мне пропеть «Бог всеильный, Бог любви», как мне говорят, что я похоронил в себе второго Лисициана. Мне трудно припомнить, кого же я ещё в себе закопал, может быть Зигфрида из «Лебединого озера», но сдаётся мне, что откапывать его уже поздно.

И ректор с Югиным рассмеялись. К сорока пяти годам несколько располневший Михаил Николаевич явно не годился для балетной сцены.

Но как молния сверкает от одного края неба до другого, весь институт поразило известие, что всеми уважаемый и любимый преподаватель и коллега Михаил Николаевич Югин уходит из института и становится священником.

Сейчас бы сказали «Весь Петербург» был ошеломлён этой новостью. Конечно, весь Ленинград, громадный трёхмиллионный город не мог быть ошеломлён, сотни тысяч горожан



жили, не зная и не думая, что Михаил Югин совершил из ряда вон выходящий поступок, но его близкие друзья, коллеги по институту и партсекретарь института, несомненно были потрясены. В наше время, когда сама жизнь опровергает идеалистические заблуждения, уйти в служители церкви это было непонятно, это был вызов. И ладно сам Михаил Югин, Бог ему, как говорится судья, но своим поступком он ставил под удар многих, и руководство института и парторганизацию.

В институте был большой скандал. Михаилу Николаевичу от души было всех жалко: и ректора, и зав. кафедрой, и секретаря парткома, с последним они были вообще хорошие друзья. Михаилу Николаевичу было больно доставлять ему неприятности, но новая жизнь всегда требует отречения от старого и кому-то приносит боль.

Друг говорил ему:

– Зачем, Миша, ты это делаешь у нас? Переведись в другой институт, и иди, куда хочешь.

– Что же ты предлагаешь мне, – отвечал он другу, – бегать по всему Союзу, искать институт, где моё решение будет принято, как должное? Нет такого института. Так устроена наша жизнь.

А ему стало невозможно жить дальше ещё с того осеннего дня, когда в 1929 году отца арестовали по делу контрреволюционной церковной организации, и дома отца больше не видели. В тот миг, когда отец обернулся на пороге и послал ему прощальный взгляд, он, убежав в дальнюю комнату, разрыдался и дал обет: стать священником, жизнь свою завершить в сани. Ждать исполнения обета надо было долго. Он неоднократно порывался всем заявить о вере, но духовный отец не благословлял его: не нужно специально, нарочито искать мученичества, твоя задача хранить в душе веру и передавать достойным. Потом, вспоминая Михаила Николаевича, многие говорили, что во всём его юморе, во всех шутках, репризах, он никогда не переступал известную грань, остроты его не были пошлы, скабрёжны, никого не оскорбляли и не опускались ниже пояса. Святые отцы признавали смех, но порицали смехотворство, смех ради самого смеха.



Когда схлынули хрущёвские безумства, он поговорил с правящим архиереем и решил начать ту жизнь, о которой мечтал с детства.

В институте его не пытались разубедить, заявить ему, что религия, вера, это отжившее, старое, достояние старух и выживших из ума людей, фанатиков. С ним боялись спорить, опытный полемист, человек глубочайших знаний и горячей веры, он сам мог обратить спорщика в веру. Всех волновало то, что он своим поступком вторгается в их жизни, приносит неудобства.

Рвались многолетние дружеские связи, знакомства, симпатии. Он знал, что это ненадолго, потом многое вернётся, восстановится, порванные нити срastутся, всё образуется. Он даже просил у священноначалия направить его на отдалённый приход, чтобы не встречаться, не видеть пока добрых знакомых и друзей, которые не сделали ему ничего плохого, а он невольно досадил им.

Разумеется нашлись те, кто готов и рад был осудить, заклеить его как отщепенца, как предателя, которому советская власть дала так много, а он... Но это были люди малоуважаемые, как писал Достоевский в «Бесах», коротенькие люди, от них ожидалось это. Он не сердился на них, люди делают своё дело, к какому они предназначены по складу души. Такие люди были, есть и всегда будут, и сердиться на них, всё равно, что сердиться на встречный ветер, который мешает тебе идти.

На него досадовали, зачем он объявил о своём решении публично, мог бы сделать тихо, чтобы никто не знал. Но Михаил Николаевич вовсе не делал события из своего поступка, не искал ни славы, ни популярности (того и другого было у него в избытке), за него говорило само дело.

После рукоположения в сан он прибыл на первое место служения в дальний район, в приходскую церковь. На приходе в областном центре ему места не было, шум в Ленинграде был чрезвычайно большой и его постарались услатить подальше. Слава Богу, что всё же оставили в европейской части, не законопатили в сибирский или захолустный среднеазиатский приход.



Слух о приезде в областной центр необычного священника взбудоражил духовенство, церковный народ, и на перроне его встречало так много людей, что встречу его в пору было принять за какую-то демонстрацию.

Из вагона вышел и довольно-таки бодро соскочил на перрон полноватый, но не толстый, с приятным, умным лицом с бородкой *l'espaniol*⁹, человек, сел в легковую, нанятую приходом машину.

Начало служения отца Михаила ознаменовалось не шуточным испытанием, а говоря церковным языком, искушением. В одно из воскресений он служил Литургию. По завершении евхаристического канона, он повернулся к верующим, чтобы провозгласить «Мир всем», и – не поверил своим глазам – в храме возле свечного ящика он увидел уполномоченного, у которого в его облисполкомовском кабинете получал свидетельство о регистрации и с того дня не видел его. Заставив себя не думать, не отвлекаться, чтобы не утратить молитвенный настрой, он довёл Литургию до конца, причастил верующих и только перед тем, как выйти на амвон, произносить проповедь, задумался, чем вызван приезд Матрасова. Он никогда не бывал на приходах и вызывал священников к себе. А для того, чтобы приехать на приход о. Михаила, нужно потратить два с половиной часа езды на машине, чтобы добраться до него. Первым делом – грешен человек – о. Михаил подумал, не нарушил ли он чего, может быть, кто-то донёс, что он крестил на дому, не воспрещал, а содействовал тому, чтоб в храм приводили детей, хотя это не приветствовалось. Нет, со стороны закона он был чист. Но почему Матрасов не позвонил, не предупредил, почему заявился в храм, а не домой, ведь служащие его ранга крайне редко переносят ногу через церковный порог.

В сомнениях и тревоге, совершив отпуст, дав крест для целования прихожанам, он сошёл с солеи в храм, поздоровался:

– Добрый день, Николай Алексеевич. – приветствовал он уполномоченного, – какими судьбами в наших палестинах, или в переводе на гражданскую речь, в нашем захолустье?

⁹ Эспаньолка.



– Да вот, – заметно смущаясь, что было непривычно видеть на его лице, обычно суровом и неприступном, сказал уполномоченный, невзрачный человек ниже среднего роста, с покатым лбом, ничего не выражавшим лицом сероватого оттенка, – Приехал навестить. Кхе-кхе, – он смущённо откашлялся, – так сказать, своего подопечного. «Поднадзорного», – подумал о. Михаил.

– Рад, рад, даже очень рад видеть, – маскируя улыбкой своё недоумение, говорил отец Михаил. – Милости прошу к моему шалашу.

В добротном на высоком подклете, ещё дореволюционной постройки доме, в большой комнате их уже ждал добродушно посвистывавший самовар и обильно накрытый стол (отец Михай, прежде чем выйти из алтаря послал в дом алтарника с соответствующим поручением), приветливо улыбавшаяся матушка.

Отец Михаил заводил речь о том, о сём, чтобы вывести цель столь неожиданного визита, но ничего не добился. Уполномоченный не выдал цели своего приезда. Так и уехал. Получалось, что приезжал только попить чая и заручиться согласием на следующий приезд.

«Зачем ему моё согласие, – думал отец Михаил, – когда захочет тогда и приедет. Что я, сумасшедший, не пушу уполномоченного в дом».

Власть уполномоченного была велика. Всему епископату Русской Православной Церкви была известна история епископа Павла, дерзнувшего спорить с уполномоченным, который в конце концов вынудил архиерея, поверившего пропаганде о свободе церкви в Советском Союзе, вернуться обратно во Францию, откуда он приехал.

А уполномоченный Матрасов приехал и во второй раз, и в третий.

Цель визитов уполномоченного прояснилась только в третий приезд. Когда отцу Михаилу стала ясна эта цель, он хохотал так долго и так громко, что матушка встревожилась за его самочувствие, как бы ему не стало плохо. Это было похоже на приступ, припадок. Нечто подобное должно быть испытывал



Пьер Безухов, когда французский солдат воспретил ему идти дальше и Пьер разразился хохотом, что его бессмертную душу хотят запереть и куда-то не пустить.

Матрасов, чрезвычайно уязвлённый, что Михаил Николаевич Югин не внял увещаниям многих профессоров в столичном городе и ушёл в церковь, возмечтал посрамить этих профессоров и вернуть о. Михаила на путь истинный. Матрасов был убеждён в том, что никто из попов и архиереев в Бога не верит, просто люди зарабатывают себе на жизнь таким образом: тяжело ли ходить по церкви да размахивать кадилом.

Когда о. Михаил понял это, он глубоко задумался. Конечно, было проще простого на двух-трёх примерах поставить Матрасова перед фактом его полнейшего невежества в знании Нового Завета, в истории церкви, в патристике да и вообще в невежестве общекультурном. В ходе пробных, разведочных разговоров, после ряда осторожных наводящих вопросов о. Михаил легко установил, что Матрасов не знает основных событий даже русской истории, не говоря уже о мировой. Так он знал, что в дореволюционной России три императора носили имя Александр, но не имел ни малейшего, даже приблизительного понятия в какие годы они правили Россией, он мог сказать, что Наполеона победил Александр III, а освобождение крестьян произошло при Александре I.

С подобной ситуацией о. Михаил сталкивался впервые: важно было не дать показать своему оппоненту его полное невежество, незнание предмета, в котором уполномоченный вознамерился переубедить священника.

Важно не задеть самолюбие Матрасова, иначе он мог обидеться, а нет ничего опаснее обидевшегося на тебя человека, особенно, если он имеет какую-то власть над тобой.

Опытный лектор и педагог о. Михаил избрал тактику упреждения, он уходил даже от намёков от незнания Матрасовым чего-либо, в беседах и спорах (Матрасов порой даже осмеливался спорить с ним!), он прибегал к оборотам «как Вы знаете, как Вам, несомненно, известно, Вы сами способны убедить любого в том, что, Вы же читали труды».. Матрасов,



слыша ранее неизвестные ему факты сам себе верил, что он всё это знает, и узнавая новое, учился у о. Михаила, не замечая, что незаметно становится на позиции священника и начинает думать и говорить его словами. Спустя полгода, Матрасов вполне уверенно оперировал знаниями из римской истории и истории Палестины, современной Христу, повторял с видом знатока имена императора Августа и Тиберия, Агриппы, царя Ирода (он смеялся, узнав, что Ирод – это имя, а не прозвище), Иосифа Флавия, Корнелия Тацита, знал наизусть имена двенадцати учеников апостола Христа и цитировал Нагорную проповедь.

Чтобы не ездить так далеко, Матрасов добился перевода о. Михаила из районного центра в Тиховодск, сам стал читать Библию и обращался к о. Михаилу за растолкованием непонятных мест.

С Матрасовым повторялась история Тучкова, гонителя Православной Церкви двадцатых годов. Исполняя роль ищейки государственных органов, руководя Ликвидационным отделом, назначенным для ликвидации Православной Церкви, в результате общения с иерархами Церкви и поневоле повинуюсь благодати, исходившей от них, к старости Тучков уверовал и умер христианином.

Люди, способные задуматься о себе, осознавшие, что годы жизни потрачены на пустяки изменяют свою жизнь, становятся мягче, добрей, терпимей. С Матрасовым получилось наоборот, мысль о том, что жизнь прожита напрасно, пробудила в нём злобу, хотелось кому-то за это отомстить. Но кому? Злоба его обратилась на жену, на такую же как он сам болезненную, малосильную старушонку. Вспоминая юность, он не находил в ней хотя бы эха влюблённости, нежности. В супружеской жизни вспоминались одни только недоразумения, обиды. За это всё он бил жену. Он поставил целью одним ударом сбить её с ног, но силы не хватало, от этого он злился ещё сильнее. Несчастная старуха вырывалась из квартиры, бегала по лестницам, просилась к соседям. В конце концов Матрасова увезли в психиатрическую больницу.



Искушение уполномоченным удалось преодолеть (его вскоре отправили на пенсию), но вслед за ним пришло житейское испытание, которое преодолеть было невозможно, а только принять со смирением. Занемогла матушка и, проболев недолго, скончалась и сам он проводил её в путь всея земли на местное кладбище. По древнему обычаю вдовый священник постригался в монахи. Постригся и о. Михаил, получив имя Михай, был призван к епископскому служению, подвизался в одной из южных епархий, потом был переведён в Тиховодск, где и застала его годовщина преставления Сергия Радонежского.

V

В эти дни Тиховодск был взволнован предстоящим концертом известного певца, мэтра отечественной и мировой оперной сцены тенора Зураба Соткилавы. У всех на памяти, а у кого-то и на слуху живо было выступление трёх теноров: Доминго, Каррераса и Паваротти. А тут в далёкий провинциальный город приезжает певец, равный им по знаменитости и, как считали некоторые, по мастерству и классу. Город жил ожиданием. Лучшие билеты были разосланы областному и городскому начальству, хотя большинство из них в филармонии бывали, когда там проводилось какое-либо партийное или хозяйственное мероприятие.

Купил билет на концерт и Ширков с супругой.

Концерт проходил в одном из лучших залов, зале филармонии, в царские годы в Доме благородного дворянского собрания, где во времена оны на балах танцевали цари Александр I и Александр II, и вот уже полвека размещается филармония.

Зал заполнила оживлённая, одетая, как говаривали наши отцы и деды, на выход публика.

Испытывая знакомое чувство приподнятости, праздника, хотя бывал здесь уже многократно, Владимир Леонидович поднимался по самой красивой в городе мраморной лестнице, раскланиваясь и здороваясь за руку со знакомыми и друзьями.



Как это бывает со знаменитостями, известный сорт публики приходил сюда вовсе не потому, что любит пение (или скрипку, или рояль), а потому, что сюда приходили все, кто считал себя местным *bonond*, ом, чтобы позднее при случае, как бы между прочим, сказать «А вот когда мы были на Соткилаве».

В крошечном аванзале с портретами Императоров на стенах Ширкова ждал приятный сюрприз. Не успел он сделать трёх шагов, как чей-то приятный баритон сказал:

– Добрый вечер, уважаемый Владимир Леонидович.

Ширков повернулся на голос и остолбенел, перед ним стоял владыка Михай.

Ширков так растерялся, что на мгновение забыл кто это. Компьютер в голове работал безостановочно: лицо знакомое, даже очень хорошо знакомое, но где я его видел в последний раз, почему он в цивильной одежде и как его зовут?

– Добрый вечер. добрый вечер, – улыбаясь, скороговоркой лепетал он (вспомнил!) и, складывая ладони для благословения с облегчением сказал, Здравствуйте, Владыка, – одновременно думая: как же при всех он будет благословлять его.

Владыка просто пожал его руку.

– Рад Вас видеть, – сказал он.

На владыке был великолепно сшитый серый костюм в полосу, в каких в кино обычно показывают английских аристократов. Костюм скрывал полноту фигуру владыки, и весь он являл собой образец, выражаясь по-старому, респектабельного, чрезвычайно импозантного мужчины. В довершение картины можно было добавить, как писалось в романах XIX века, в глазах его светился ум. Ширков заметил, что проходившие женщины смотрели на владыку тем особенным взглядом, каким умеют смотреть только женщины.

Протарахтел третий звонок.

– Поговорим в антракте. – Владыка пошёл на своё место.

– Кто это? – спросила Ширкова жена.

– Наш архиепископ.

– Ты что. Правда?

– Конечно.



– Когда ты с ним познакомился?
– Я недавно дома у него был.
– Почему меня не взял?
– Извини. Так получилось.
– Ширков, ты опять за старое взялся? Ничего мне не рассказываешь.

Супруги шептались столь активно, что зрители из переднего ряда оглядывались на них.

- Потом поговорим, – сказал Ширков.
- Даром тебе это не сойдёт,
- Ну хватит, люди же смотрят.
- Представительный мужчина...

Шквал аплодисментов заглушил слова Маргариты: на сцену быстрым шагом вышел, почти выбежал долгожданный артист.

В первом отделении maestro пел оперные арии из общепринятого концертного асортимента тенора: «Libiamo, libiamo» из «Травиаты», «Chelesta Aida» из Аиды, «Recondita armonia» из Тоски, «Ridi, Pagliaccio» из «Паяцев», «Nessun dorma» из Принцессы Турандот, всё на итальянском языке. Чтобы побаловать публику, в большинстве своём не понимавшей по-итальянски, певец спел арию Германа из 1-го действия «Пиковой дамы», Водемона из «Иоланты», Надира из «Искателей жемчуга». Пел легко, красиво, артистично, брал высокие ноты, не собирая все силы, как штангист перед подходом, не подъезжая к ним, не краснея всем лицом от натуги, а пел их на том же естественном широком дыхании, как и всю арию. Он сам вёл конференс, шутил тонко и умно, хлопали ему сильно, не из приличия, как же в Большом театре поёт, стыдно не похлопать, а от души, не жалея улыбок и ладоней.

Первое отделение пролетело незаметно.

В антракте Ширков сразу нашёл владыку Михея, да его и не нужно было искать, владыка сам шёл к нему навстречу, вытянув руки: он любил поговорить об искусстве и был очень доволен, что у него на нынешний вечер есть собеседник.

– Ну, как? – на правах старшего первым он обратился с вопросом к Ширкову.



– Замечательно, очень понравилось.

– Мастер, мастер. Я оперу люблю, слышал и Лемешева, и Нэлеппа, и Атлантова, в записях Ханаева и Смирнова, заметьте, я говорю лишь о тенорах, а я знаю и держу в памяти много баритонов и басов.

Они принялись говорить о деталях исполнения, но если Ширков свои восторги изливал словами «Тонко, нежно, напевно» и т.п., то владыка Михей рассуждал профессионально, применяя термины: тесситура, фиоритура, меццо – воche, называл ноты си, ля, толковал о бемолях и даже сделал упрёк певцу, сказал, что в одном месте он взял незаконную ноту.

– Хотя великим артистам эта самодеятельность прощается. Сама Антонина Васильевна (Ширков догадался : Нежданова) и несравненный Фёдор Иванович, и бесподобный Павел Герасимович позволяли себе такое (Владыка сказал: вторгаться в музыкальную ткань).

Различие в способе оценки пения объяснялось просто: Владыка в юные годы с отличием окончил музыкальное училище по классу фортепиано и всерьёз задумывался об избрании жизненной карьеры музыканта – исполнителя, музыкальное же образование Ширкова ограничивалось знанием разученного на школьных уроках пения звукоряда: до-ре-ми-фа-соль-ля-си.

Что, впрочем не мешало им, радостно перебивая друг друга, делиться услышанным и пережитым.

Маргарита несколько раз дёрнула его за рукав, пока Ширков не догадался, зачем она дёргает, сначала подумал, что она зовёт в буфет, однако, взглянув на неё, понял свою ошибку:

– Простите, владыка, – улучив паузу в разговоре, сказал он, – я заговорился, позвольте представить: моя жена, Маргарита Владимировна.

– Знаменитое оперное имя, – сказал владыка, галантно поклонившись («Вот оно, воспитание», – завистливо подумал Ширков) и поцеловал руку Маргарите, – поскольку мы сегодня присутствуем на концерте тенора, вы, конечно, помните друзья мои, ариозо Фауста из второго действия «Привет тебе, приют священный».



Во втором отделении Соткилава пел преимущественно неаполитанские песни *O Sole mio*, *Santa Lucia*, *Serenata*, *A Marechiare*, *Volare*, *Torna a Surriento* и другие.

Во время исполнения очередного номера Соткилава, оглядывая зал, увидел знакомое лицо и, закончив петь, сказал:

– Я много гастролирую по Советскому Союзу, у меня повсюду есть друзья. Когда я ехал в Тиховодск, я загрустил, что у меня в вашем красивом городе нет друга. Оказывается, я ошибался. И здесь у меня есть друг. Да какой! Викторин Андреевич Внуков, наш замечательный писатель, книги которого вы все читали.

Внуков, бывая на разных мероприятиях в Москве, неоднократно виделся с Соткилавой, но не ожидал, что он увидит его в зале, правда, они встречались взглядами, но эти встречи были обычными взглядами, которыми артист скользит по лицам публики, ни на одном лице не задерживаясь особо. А здесь взгляд зацепился за знакомое лицо.

– Прошу, – пригласил Соткилава.

Под аплодисменты Внуков поднялся на сцену. Обнявшись с Соткилавой (шепнув при этом ему в ухо: «Что ты делаешь, кацо, я ж не готов») он сказал, обращаясь к Соткилаве: батано¹⁰, что на следующий день послужило появлению городской сплетни, что наш-то знаменитый писатель, который корчит из себя невесть что, называл Соткилаву батоном, а Соткилава, как человек тактичный, ничего ему не сказал, не назвал его кренделем.

– Дорогой, батано Зураб, – сказал Внуков, – ты знаешь, что я тебя люблю, но жители нашего города попросили меня сделать тебе выговор.

– А в чём дело, Викторин? – шутливо изобразив недоумение, спросил Соткилава.

– Все они тебя любят, видишь, сколько народу собралось, да сколько ещё на улице осталось, а ты так редко к ним приезжаешь. Так что выговора будет, пожалуй, маловато, надо с занесением в личное дело.

¹⁰ Батано – подчеркнуто уважительное, почтительное обращение к собеседнику в Грузии



Слова Внукова были покрыты смехом и дружным аплодисментом.

– Постараюсь исправиться и приезжать почаще, – пообещал певец, на что последовал ещё более громкий аплодисмент.

– Вместе со мной многие горожане очень рады, дорогой маэстро, слышать твой голос, как говорится, вживую. У тебя много записей на дисках, на видео плёнке, но с живым голосом не сравнится никакая запись, как с ароматом розы не сравнится никакой парфюмерный запах. Грузия дала много прекрасных голосов, вспомним более десяти лет певшего в Большом театре Зураба Анджапаридзе, тенора мирового уровня, как Джильи, Марио дель Монако. Крепкого тебе здоровья, дорогой батона, и творческого счастья.

Концерт Соткилава увенчал пением «Funicula», призвав зал подпевать ему. Зал с воодушевлением и дружно откликнулся и как заметил один острослов: Концерт Соткилавы завершился яркой демонстрацией любви и уважения россиян к братскому итальянскому народу.

На концерте были как Викторин Андреевич с Анной Григорьевной и дочерью Ирой, так и Животов с женой, Петей и Вале́й (Внуков пошутил: вся наша рыболовецкая артель: Удочка и невод»), были владыка Михей и журналист Ширков с Маргаритой, Роман с Наде́й и Сашей, но не все они были знакомы друг с другом. Так и в народе, невозможно, чтобы все люди, составляющие его, были знакомы друг с другом, но должно быть нечто, что объединяет их всех.

Об этом зашла речь, когда Ширков с Маргаритой провожали владыку Михея к машине.

Народ выходил из филармонии, растекаясь по окрестной площади и улицам. Слышались негромкие разговоры, кой – где загорелись красные угольки – глазки сигарет, взвивались лёгкие дымки.

– Только что эти люди были вместе, – говорил Владыка, – и вот все порознь. Гёте говорил о великой роли искусства. Оно не только развивает в людях художественный вкус, учит их, просвещает, но и собирает, объединяет народ. В новой



истории известен случай, когда искусство соединило народ для достижения высокой цели. Я имею в виду творчество великого Верди. Как вы знаете, при его жизни начался процесс рисорджименто, объединения Италии в единое государство.

Владыка остановился на краю дороги, где парковались машины и говорил так громко, что на него оглядывались. Это обстоятельство льстило тщеславию Ширкову: пусть все видят, какой человек говорит с ним.

– Оперы Джузеппе Верди пользовались такой любовью народа, что само имя его стало лозунгом итальянских патриотов. На стенах домов писали Viva Verdi!, где имя Verdi расшифровывалось как: Victor Emmanuel rex d'Italia, а всё вместе в переводе на русский звучит так: Да здравствует Виктор Эммануил, король Италии. Да, – вздохнув, сказал Владыка, – Сейчас искусство объединяет народ, а прежде объединяла вера. Что было куда надёжней. Как Вы считаете, Владимир Леонидович? Куликово поле, исход Смуты, кажется, убедительно иллюстрируют мою мысль.

Ширков не мог ничего сказать, потому что он не задумывался об этом и просто восхитился тем, как владыка умеет вроде бы известный факт так подать и сделать неожиданный, но оригинальный вывод.

– Я думаю, – сказал Ширков, подражая интонации владыки, – что советская власть понимала объединяющую общественных мероприятий и именно с этой целью два раза в году проводила демонстрации. Ведь демонстрация тоже своего рода массовое праздничное мероприятие, люди шли не молчаливой, ничего не соображающей толпой, они пели, плясали.

– Да, да, – согласился Владыка, – демонстрация в известной мере копировала, нет, подражала крестному ходу. Люди несли знамёна, портреты руководителей, это параллель с хоругвями и иконами; пели песни, это параллель пению тропарей и величаний. Однако нам надо прощаться, – рядом с Владыкой притормозила его «Волга». Но вот что пагубно, – открыв дверцу и готовясь ступить в машину, – говорил владыка, – скажу на прощанье. Печально и достойно сожаления, что сейчас взамен



веры и искусства средством объединения служит спорт. При-
скорбная ошибка. Абсолютно бездуховное начало. Тело, тело
и ещё раз тело. Но человечество это уже проходило. И не раз,
– и уже садясь в машину, махнул им рукой, – Рад был снова с
вами встретиться, да хранит Господь Вас и супругу Вашу.

– О спорте мы с вами ещё поговорим, – сказал Ширков, са-
монадеянно подумав, что уж в этом-то вопросе он не уступит
Владыке.

И владыка уехал.

– Хотела я тебя, Ширков, отругать как следует, – сказала
Маргарита, едва на повороте мелькнули красные огни архие-
рейской машины, – да передумала. Ладно, живи. Уж больно ты
умные речи ведешь с большими людьми. Так что я тебя про-
щаю, Владимир Леонидович, – с едкой усмешкой повторила
она интонацию Владыки.

– За что? – приятно возбуждённый разговором с Влады-
кой, спросил Ширков.

– Как за что? Ты только его увидел, сразу в него и вцепил-
ся. Стоит, разговаривает, улыбочка у него, цветёт, как майская
роза, а на меня ноль внимания. Я стою, как дура.

– А ты стой как умная, – возразил Ширков, – а то он в самом
деле подумал бы, что это за дура такая?

– Ширков, не зли меня.

– Я и не думаю тебя злить, ты сама себя злишь.

Так, переругиваясь, они оба, довольные чудесно проведён-
ным вечером шли по ночному Тиховодску.

А в полупустом гардеробе разыгрывалась любопытная сцена.

Соткилава, извинившись, что не делает это сам, потому
что разгримировывается, пригласил через своего приятеля
Внукова на ужин.

Викторин Андреевич часто принимал подобные пригла-
шения, и на этот раз, поскольку концерт получился отличный
да он и сам подпевал заодно с залом, согласился бы, но он был
не один, с ним были жена и дочь. И, самое главное, Животов
с женой и Вале́й. Что же, получается, сидели вместе и вместе



радовались, а потом он в кусты, а вы как хотите. Зураб человек хлебосольный и щедрый, рассчитывать в ресторане будет сам, а ведь это получится не просто ужин, а целый пир. Животов, угадавший причину заминки в разговоре, сказал сзади:

– Витя, ты иди, нас не стесняйся, иди, потом всё нам расскажешь.

– Я друзей не бросаю, – сказал Внуков и, обратившись к посланцу Зураба, сказал, что просит принять его извинения, он не совсем здоров, надеется повидаться с Зурабом в будущем.

Поздним вечером, когда все улеглись спать, Викторин Андреевич вышел на балкон. Опять слева воздымался стройный шатёр Владимирской колокольни, луна сквозь разрывы облаков золотила главу колокольни Успенского собора. Он вновь и вновь вспоминал концерт, неповторимый тембр и интонации голоса Соткилавы. Грузинская культура в 50-е была дополнительной, но существенной деталью советской культуры. Причины этого были известны, но она не навязывалась насильно, как делается сейчас с американской культурой, если можно её так назвать, с её наглым всучиванием безмозглых диснеевских фильмов, где действуют не люди, а какие-то выродки, где нет ни цельного чувства, ни мысли, одна беготня и бесконечные погони. В Советском Союзе часто упоминали имя Руставели, приводили цитаты из поэмы, но самого «Витязя», практически не читали. А он прочёл. И поразился. Сам автор более полусотни книг повестей и не одного десятка рассказов, заставлявших сотни тысяч читателей во всей стране сопереживать, смеяться и плакать со своими героями, он был потрясён силой и чистотой чувств героев поэмы, а ведь это написано восемь веков назад. Какой же гениальной силой одарил Руставели Творец, что и через восемьсот лет его слово живёт, оно не умерло, в нём бьётся сердце поэта и струится его кровь. Это было потрясение, равное тому, что испытал он в юности после фильма – оперы «Пиковая дама». Он шёл по родным улицам Тиховодска и не узнавал их, дома, деревья, небо и река зву-



чали музыкой, он шёл как помешанный. Но Чайковский почти наш ровесник, а мощи Руставели, если они и были, давно истлели.

Закутавшись в плед, (на балконе было весьма ветрено и прохладно) Викторин Андреевич стал перебирать в памяти всё, что связывало, роднило русскую культуру с грузинской. В душе жила эпопея Анны Антоновской «Великий Моурави» о Георгии Саакадзе. Он улыбнулся вспомнив проделки дружины барсов (так с детства называли себя друзья Саакадзе), гибель его сына Паата в персидском плену. Когда шах Аббас узнал, что Георгий Саакадзе изменил ему и возглавил народное восстание против персов, он приказал привести к себе Паата. Зная, что его ждёт неминуемая смерть, Паата отважно перекрестился перед шахом. В тот миг, когда восставший народ праздновал победу на Марабдинском поле, Георгию в шатёр бросили мешок с отрубленной головой сына.

«Только верой и спаслись, и выстояли, Господь сохранил», – подумал Внуков, невольно повторяя слова владыки Михея.

Но ведь была дружба народов. Была, вопреки тому, что врут эти, по Фёдору Сологубу, недотыкомки. Была, не такая, конечно, какой её рисовали на плакатах, а основанная на силе государства. Государство принуждало дружить, хотя, возможно, это и звучит довольно нелепо в отношении дружбы. Но в большой семье, чтобы все дети жили дружно, отец для блага семьи должен принимать к своевольничающим сыновьям, как сейчас пишут строчкогоны, непопулярные меры.

На фронте мы не делились кто русский, украинец, грузин, татарин, латыш, все были фронтовой семьёй, горе одного было всеобщим горем. Всех сплотила общая беда.

А какие фильмы снимались на «Грузии-фильм»! «Баши-Ачук», «Мамлюк», с великим Отаром Коберидзе, «Фатима», «Берега» с Мегвинетухуцеси. «Тайна двух океанов», тоже снята там. Фильму сорок лет, а смотреть интересно. Когда «Тайну» крутили в первый раз, в Тиховодске была страшная зима. Люди в лютый мороз выстаивали часовые очереди. А «Приезжайте, генацвале, посидим за цинандали», – это же весь Союз



пел. Помню, шли мы с отцом из бани, ещё до войны. На углу Советского и Речников на горушке пивная была. Отец завернул кружку пива выпить, а мужики сидят у бочки и поют: приезжайте, генацвале.

Балконная дверь скрипнула.

– Что не ложишься, поздно уже, – сказала вышедшая на балкон Анна Григорьевна..

– Что-то, Аня, не спится.

– Концерт вспоминаешь?

– Не только. О Грузии думаю. Ведь братья мы, братья. И по вере и по судьбе. Была песня «Русский с китайцем братья навек», но это агитка, а с грузинами мы братья, пожалуй, навек, действительно. Не с 1801 года мы вместе, а издавна дружили, историки пишут со времён царицы Тамары. А сейчас объявился там бесноватый, который о русской оккупации говорит, и ведь молодёжь его слушает, и верит. Но ещё Михаил Юрьевич сказал:

– И Божья благодать сошла
На Грузию! – она цвела,
С тех пор в тени своих садов,
Не опасая врагов.
За гранью дружеских штыков.

Мы, мы, русские спасли грузин от истребления, от порабощения персами и турками. Пусть Ельцин подписал документ в Беловежье, но веру, взаимную вековую симпатию не разрушишь бумажками.

VI

Афишные стенды, заборы и стены домов Тиховодска за последние недели запестрели листовками о проведении Всеславянского собора, но кто его проводит, кто руководит, никто не знал. У кого Ширков ни спрашивал, никто не мог дать вразумительного ответа. Выходило, что собор самодеятель-



ный, никакой авторитетной организации за ним не стоит. Но слова в листовках о чуть ли не мировом уровне собора, о приглашённых пятистах участниках вызывали известное доверие, пробуждали огромный интерес (в Тиховодске – мировой собор!). Под проведение собора был отдан большой зал не где-нибудь, а в бывшем обкоме партии. Поэтому народа в час открытия собралось немало, люди стояли в проходах. Многих привело сюда простое любопытство: как у коммунистов внутри всё устроено, ведь рядовых советских граждан в обком не пускали. Обком стоял в центре города, как дворец какого – нибудь халифа из сказок 1001ночи. Некоторые особо ретиво-бдительные милиционеры не разрешали прохожим ходить мимо обкома, сокращая путь, хотя никто их на это не уполномочивал.

Зеваки не увидели в обкоме ничего особо роскошного: паркетные полы, поддельные под ценные породы дерева стенные панели. Правда, почти всюду лежали ковровые дорожки и всюду была образцовая, почти казарменная чистота. Чувствовалось, что за этим следят особо тщательно.

Поэтому часть посетителей с недовольными лицами (а мы-то думали, что тут и есть!) без шума спускались на лифтах на первый этаж и уходили.

– Привет, Ширков.

– Привет, Вита, – приветствовали друг друга Ширков и журналистка,

– Должен заметить, что я обратился к вам по имени, – сказал Ширков.

– Ах, боже мой, я так растерялась, увидев Вас, Вовочка, – кокетничала Вита, – что забыла Ваше имя. Кстати, с какого позавчера мы на «Вы»?

– Как только ты забыла моё имя, так и завывали. А «позавчера», это последний взвизг моды?

– Если «поза», то не последний, а предпоследний. Слушай, Ширков, ах, я дико извиняюсь, Вовочка, я подумала, что, говоря по-советски, мы с тобой прибыли освещать работу этого собора. Не находишь, диковатое выражение?



– Согласен, на заре советской власти в журналистике работали не самые чуткие к слову перья, ведь освещают то, что находится во тьме.

– И представь себе, на трибуну взгромождается сам Ленин, светоч, и журналисты должны его освещать.

– Слушай, – перебил её Владимир Леонидович, – мы с тобой работать пришли или трепаться?

– Да брось ты, Вовка. Работать. Пойдём лучше на лестницу, покурим.

– Я не курю.

– Давно?

– С год.

– Ну, Ширков, ты меня прости, мне так удобней тебя называть, ты молодец, какая сила воли, год не курить, я бы умерла с тоски.

– Говори лучше, что уже выведала, – спросил он, догадываясь, что за трёпом эта проныра что-то скрывает о соборе.

– Я вчера кое у кого была в номере, пили «Мартини», Хемингуэй ведь мартини пил.

– Он много чего пил, ближе к делу.

– В общем, Вова, этот собор языческий. Начитались они Емельянова, его «Десионизации» и хотят возродить настоящую Русь. Всех они ругают, Советскую власть, дедушку Ленина, услышишь сам. Я, конечно, баба ещё та, недаром на меня генералы в КГБ как на оторву смотрели, но я не врубаюсь: какая Россия без Церкви?

Ширков читал нашушевшую «Десионизацию» и возмущался манере автора вещать о том, в чём не сведущ. Филолога по образованию Ширкова выводила из себя, так называемая народная этимология автора, толкование географических названий по созвучиям. Оказывалось, что река Иордан родственна Дону. Следовательно славяне родом из Палестины. А Лондон, Донкастер, река Дон в Канаде и даже Индонезия? Книга была переполнена многочисленными натяжками, спорными этимологиями.

Вита не врала, всё началось как будто на дворе стоял не 1992 год от Рождества Христова, а 1992 год до Рождества.



Вышли три здоровенных, рослых парня, подняли к потолку длинные, похожие на рога трубы, трижды продудели в них и начали звать Перуна, Велеса, Даждь- бога. Их сменила девушка с распущенными волосами и пронзительно высоким сопрано(с ужасным тремоло) пела песни собственного сочинения. Затем начались выступления.

Ширков не верил своим ушам. В стенах, хоть и бывшего, но обкома звучала несусветная антисоветчина. Доказано, что, исключая только период Великой Отечественной войны, население Советского Союза неуклонно росло, во многих семьях его сверстников было по три – четыре, а то и пять детей. А в зале говорили о геноциде русского народа, что советская власть держала его в чёрном теле, морила голодом, гноила в тюрьмах и лагерях.

Она держала советский народ в невежестве, не давала читать Достоевского, я (говорил докладчик) прочитал Достоевского только в восьмилетнем возрасте. «Вообще-то, – подумал Ширков, – Фёдор Михайлович писал не для восьмилеток. И куда денешь декады культуры и искусства братских союзных республик?»

Зачем, с какой целью проводится этот собор, думалось ему, слушая невероятные, невообразимые выступления. В каждом из них звучала подспудная злоба, чёрная ненависть к власти и, естественно к народу, из которого эта власть состояла и которым она управляла.

Надо уходить отсюда, никакой это не славянский и не русский собор.

– На Церковь нельзя надеяться, – говорил очередной выступающий, – потому что она инструмент государства, партии и КГБ.

Этого Ширков стерпеть не мог и крикнул на весь зал:

– Неправда!

– Правда, – взлетел в глубине зала истеричный женский голос.

Вита, сидевшая рядом и записывавшая выступления на диктофон, пожалала его руку выше запястья.



– Не слушай этих дур, – сказала она.

Его подмывало выступить против всех, сидящих в зале, сказать, что хватит разъединять русский народ, вбивать в него клинья, самое важное, что должен сделать собор, созвать ополчение и повести его на Москву, чтобы освободить сердце Родины от оккупировавших её антинародных сил. Но в секретариате, куда он обратился с просьбой о выступлении, ему сказали, что и так много записавшихся сверх регламента.

Он решил всё же дождаться конца: вдруг скажут что-нибудь дельное, но когда отставной полковник, один из руководителей собора, начал зачитывать кандидатуры будущих министров русского правительства и члены собора принялись за эти кандидатуры голосовать, он не выдержал и вышел из зала.

Взрослые, вроде бы серьёзные люди, а ведут себя как дети, совещающиеся кому водить в игре в прятки. Его душила злоба на этих людей, которые, спекулируя на идее всеславянства, сами неспособны сказать хоть что-нибудь нужное народу. Он не мог собраться с мыслями, разобраться с самим собой и без сопротивления откликнулся на предложение Виты зайти в кафе.

В кафе «Золотой якорь» к ним быстро подошёл официант.

– Что будем заказывать? – спросил он с лакейской услужливостью. Шиков подумал, что никогда бы не смог работать официантом. А как белые эмигранты работали?

– Чаю стакан, да покрепче.

– А я, пожалуй, остограммлюсь, – сказала Вита, закурирая. – Мартини, пожалуйста.

– Сколько?

– Я же сказала, сто грамм.

Мартини в баре не оказалось. «Не завезли»- хотел сострить Шиков, но настроение было, только напиться. Так он шёл на этот собор, ждал праздника, а где оказался.

– Мне к чаю водки сто грамм.



– И мне тоже, – оживившись, сказал Вита.

– Знаешь что, – ожидая заказ, сказал он. – Эти, на соборе, толкуют, что русский народ, наша история гораздо древней, чем пишут учебники истории. Чем древней история, тем она почётней. Из древности делают как бы религию, требуют поклоняться древности. А чем кумир древности лучше каменных, деревянных, мраморных языческих идолов?

– Охота тебе, Ширков, забивать голову всякой ерундой. Пойдём лучше ко мне. Я тут близко живу.

В лицо Ширкову словно плеснули горячим.

– К тебе? – пересохшим голосом переспросил он подумав, что ослышался и одновременно вспомнив чью-то остроту, что целующий курящую женщину, целует пепельницу. Это, конечно, ерунда, пепельница это пепельница, а женщина это женщина, у них нет ничего общего. Говорят, что она переспала чуть не со всей редакцией, и как Клеопатра ведёт список с кем спала. Как это у Пушкина:

Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир,
Царица голосом и взором
Нетрезвый оживляла пир...

Нет, Пушкин не мог написать «нетрезвый», там другое слово. Ну и что, что со всей редакцией? Во-первых, не со всей, так не бывает. Это те говорят, которые не в списке. А, во-вторых, у Лизочки Тейлор было семь мужей. Но нет, нет, это невозможно.

– Пойдём, Вовочка, сладкий мой, – тянула Вита, положив руку ему на шею.

Он снял её руку с шеи и знал, что ей это будет неприятно, но сказал:

– Прости, я не могу, – выпил одним глотком водку из рюмки и вышел из кафе.



Роман, уложив Сашу спать, поцеловал Надю, убрал с кухонного стола посуду на буфет и, расчистив таким образом стол, разложил на столе бумаги с рукописью рассказа.

Сначала он исследовал страницы, на которых Внуков паутинно оставил следы простым карандашом. Это были стилистические пометы, где-то подчёркнуто не точное слово, где-то более грубое, чем требовал контекст. Это новое писательское слово, услышанное от Внукова, доставило Роману немало хлопот. Он не понимал его значения. Обратился к литературным справочникам, но там была понаписана такая муть, что Роман засомневался, понимают ли сами учёные – литературоведы, что они тут написали..

Литература, как сказал Викторин Андреевич, искусство самообучающееся, пока сам не попробуешь, сам не испишешь пуд бумаги, ничего не поймёшь и ничему не научишься. Никакие учебники не помогут. Через всё ты должен пройти сам, посторонний совет малополезен. И это при том, если у тебя есть дар. Если Бог зажёт в душе огонёк, тогда есть надежда, что он разгорится в костёр.

Поэтому напрасно Роман искал что-то ещё в рукописи, какие-то другие слова учителя. Вдруг где-то заиграл оркестр. Роман глянул за окно и поразился совершившейся на улице перемене: чахлые, совсем голые ветви деревьев и кустов оделись густой листвой, из палисада соседнего дома, который горел два года назад и пожарники сломали палисадик, веяло яблоневым цветом. Роман выбежал на крыльцо и радость, детская, праздничная радость заполнила грудь. Всюду, на тротуарах, на дороге, в сквере через дорогу всюду были люди, дети в пионерских галстуках, с гирляндами цветов в руках, прямо на середине перекрёстка играла гармонь и шла яркая пляска, оркестр, который он слышал, поднимался в гору по Калинина, он видел лица, но не слышал голосов из-за оркестра поющих людей.

Демонстрации не проводились в городе уже несколько лет. Роман жадно, ненасытно обрадовался, что они вернулись,



опять весь город напоён одним светом и одной радостью, всем радостно не потому, что весна и солнце, а потому, что они вместе, они все заодно, всем радостно и празднично в этот день. Радость такая большая, что её хватает на всех. Это радость не дня рожденья, маленькая, личная, частная радость, а всеобщая, какой хватит на всех.

В руках у него транспарант – кумачовая матерчатая полоса на ширине плеч, он держит её за нижний край на вытянутых руках. Отпустить её нельзя, она сразу взмлет в небо и скроется в нём, она метров пять или шесть в высоту, но он идёт с ней беспрепятственно под электропроводами и проводами троллейбусов. Он ходит с гордостью, что ему доверили и поручили носить транспарант. На транспаранте квадратными белыми буквами написано: ДА ЗДРАВСТВУЕТ... а что «да здравствует» он не может прочитать. Он пытается заглянуть спереди, вытягивает, выворачивает шею, но текст не даётся ему. А оркестр миновал железнодорожный техникум и всё ближе и ближе. За оркестром четыре человека несут широкий в ширину дороги высокий полуовальный щит, на котором золотыми буквами выложено название завода. За щитом полощутся на древках заводские знамёна, самое первое, вручённое заводу в год его основания, переходящее знамя СНК и ГОКО, оставленное заводу на вечное хранение за производство миномётов, мин и сапёрных лопаток в годы войны, затем следуют шеренга цеховых знамён. Лёгкий ветерок перебирает, шевелит знаменный шёлк и бархат, струится складками, солнце играет бликами на трубах, геликоне, валторнах, трубах и неугомонней молотит в самое ухо большой барабан. Слышать его становится нестерпимо, он рвёт перепонки, колотится прямо в мозг. Роман, хотел зажать уши, но тогда он отпустит свой транспарант, он что-то крикнул и... прснулся..

Он заснул на рукописи рассказа. Кто-то тихо, но упорно стучал в окно. Захрипев, из прихожей пришёл Крок. Шерсть у него встала горбом на загривке.

– Тише, Кроша, – прошептал Роман и открыл окно. За окном улыбались Саша Воронин и Володя Ширков.



– Ромка, – говорил Воронин, подняв руку, которой держит за горлышки две бутылки вина.

– Что вы, дурачки, – шёпотом, чтоб не разбудить Надю и Сашу, ответил им Роман, – времени-то знаете сколько, третий час ночи.

– Давай, Рома, – сказал и Ширков, который, выйдя из кафе от Виты, не пошёл домой, а решил поприключаться, добрёл до мастерской Воронина, а оттуда пошёл к Роману.

– У меня же спят все.

– Так давай к нам, – звал Саша.

Роман не хотел пить, завтра рано вставать и на работу, но было совестно, что друзья шли чуть не через весь город (кварталов десять хороших наберётся), а он не оправдал их ожиданий. Подумав, что так и собираются разные компании, он открыл окно и вылез наружу. Крок, перебирая лапами, заскулил, как будто хотел укорить: меня бросили, а ещё товарищи называются.

Роман посмотрел на него, хлопнул себя по ноге. Крок, не задев ни стула, ни пустой кастрюли на подоконнике, стрелой пролетел в окно и, радуясь, что хозяин не бросил его ради друзей, задрав хвост, пробежал два круга по двору, нырнул меж сараек и был таков.

На улице ещё была ночь, но в небе пятнами уже обозначались светлые области, предвестники надвигающегося рассвета.

Друзья перешли дорогу, перемахнули низенький заборчик, отделявший сквер от дороги, сели на лавку напротив не работающего уже лет двадцать фонтана, открыли складным ножом Романа бутылки портвейна «Кавказ».

– Какое небо чистое,
Как солнце светит всем.
Давай, возьмём «Лучистое»
По рубель двадцать семь. –

Вполголоса продекламировал Саша и припал к горлышку.

Небо, действительно, было чистое, обещая солнечный день. И было удивительно, странно, необычно и в то же время за-



хватывающе-приятно, что они втроём посреди спящего города пьют вино. Роман в последнее время прилагал события своей жизни к жизням тех людей, чьи скелеты он видел в лаборатории.

Все были молодыми, думалось ему. Может, и они когда-то сидели в этом сквере, или под сенью кустов сирени в архиерейском саду и наслаждались жизнью. Это было так давно, семьдесят лет назад. Вместе с ними юным был и город. Так же зелёным лиственным пухом оделись деревья и кусты, начинали свои утренние песни проснувшиеся птицы и, как привидение, пролетал по дороге шумный порыв ветра.

Хотелось петь, но было нельзя, перебудишь округу.

Видно, не даром он подумал о привидении. Воронин толкнул его локтем в бок, показал рукой.

За дорогой в ночном халате белела женская фигура.

«Надежда», – упало сердце Романа. – Разбудил её.»

Фигура перешла дорогу.

Надя не сказала ни слова осуждения или упрёка, только поздоровалась. Роман встал, попрощался за руку с друзьями.

– Ромочка, – кротко сказала Надя уже дома, – мне же рожать скоро. Пора бы прекратить лазать по ночам из окна.

– Прости меня, Надюша, – сказал Роман, поцеловав жену в тёплую шею.

VIII

После потрясений 1991 года страна Российская со скрипом и скрежетом переводилась (не всегда добровольно и с охотой) на новые экономические рельсы. Переход сопровождался шероховатыми неприятностями.

В газетах стали появляться заметки, которые было ещё недавно дико читать. Один экономист обнадёживал, что без хлеба не останемся. Люди дивились. Подобное откровение заставляло людей чесать в затылках. С 1947 года в стране не было голода. Куда же ведут нас реформы? Затем сообщалось, что в детских садах стало дорого содержать детей, в школьных



буфетах ничего не было кроме чёрного хлеба. Начались неслыханные забастовки шахтёров, аграриев, учителей. Слово «забастовка» казалось таким давним, позабытым, но оно вернулось.

Противников реформ обвиняли в тупости, а тех, кто осмеливался возражать, что не в деньгах счастье, разили крикливым афоризмом: «Если ты умный, то почему бедный?» Афоризм действовал убойно. Никто не знал, как возразить крикуну. А возражение было простым. Ум и богатство разные категории бытия, иногда они сопрягаются, но чаще расходятся по разным уровням. Нередки случаи, когда ум прозябает в нищете и безвестности, а тупость процветает и ездит в нарядах. Учёные даже выявили феномен, что человек может быть умственно отсталым, но торговая, предпринимательская жилка у него может быть развита сильнее, чем у средних людей. Он способен увидеть выгоду там, где другие не видят. Человек может быть малограмотным, тупым во всех отраслях жизни, кроме денежного счёта, в этом случае голова его работала как безошибочный калькулятор.

Примечательной чертой времени явилась быстрая смена премьер-министров, народ не успевал давать им клички, одного прозвали «Два процента», потому что с каждой деловой сделки он клал 2% её стоимости себе в карман, другого прозвали «Киндер-сюрпризом». Был один серьёзный и солидный человек, от которого народ много ожидал полезного, но ему не дали развернуться.

И вот пришёл один, имя которого не забудется, с гневом и проклятием будут поминать поколения русских людей.

От него народ услышал об освобождении цен, как о средстве выправить экономическую ситуацию в стране. Он сказал: выбора нет, некогда рассуждать. Поэтому как бы ни был рискован нынешний путь – он единственный. Для того, чтобы лучше жить, надо поднять цены.

О риске говорил человек, никогда в жизни ничем не рисковавший, не понимавший значения слова «риск». Генерал Маргелов рисковал своим сыном, когда испытывал десантирование боевой техники, а этот премьер ничем не рисковал,



даже потерей тёплого насиженного кабинета и служебной машины.

Цены не выросли, они прыгнули. Изобилие продуктов наступило по принципу: видит око, да зуб неймёт.

Как раз в дни управления Егора Гайдара опустели витрины в магазинах. Годами позднее эти кадры будут самыми показательными в лживых фильмах о «голодной» советской эпохе.

Громадные миллионы денег на сберкнижках у советских людей он превратил в труху. В честь человека лишившего трудовой народ страны Советов многолетних сбережений учредили персональную стипендию.

Экономическая реформа Гайдара провалилась. Она не могла увенчаться успехом. Кабинетный говорун, выросший в теплице, как гомункулус в реторте алхимика, не видевший простых, трудовых людей, сам никогда не трудившийся физически, не забивший ни одного гвоздя, не распиливший ни одной доски и не расколовший ни одного суковатого полена, ни разу не вспотевший от работы, а только за трапезным столом, не пробежавший марш – броска с автоматом и вещмешком, ни разу не подставивший плечо под мешок муки, лодырь, захребетник по-русски, а по-гречески: *parasit*, начитавшийся умозрительных книжонок, окруживший себя злонамеренными америкашками, без тени сомнения взялся управлять экономикой огромной страны, взялся за решение вопроса, к которому решались подступаться такие богатыри ума как Сталин, Молотов, Косыгин. Но он берётся управлять и ожидаемо всё проваливает, чему способствует ежедневное, беспробудное пьянство главаря всей шайки, но ни малейшего раскаяния, или хотя бы лёгкого душевного неудобства не испытывает круглая, скользкая как бильярдный шар, лощёная душа его. С детства приученный ни за что не отвечать, даже здесь слово «ответственность» не посещает его, ответственность за остановившиеся фабрики и заводы, за разорившиеся, пущенные по ветру предприятия, десятки тысяч обнищавших людей, чья жизнь стала ещё невыносимей, трудней. А что? Он же старался, ну, не получилось, ну разорились, ну пошли по



миру, ну обнищали, так сами же люди и виноваты: зачем поверили, зачём всё принимали всерьёз.

Экономика однородна с живой переменчивой жизнью, которая каждый день ставит новые вопросы и проблемы. Её не уложишь в схемы, которые Гайдар перечертил из иноземных книжек.

Провозглашённый лозунг «Частный собственник эффективней государственного» должен был доказать свою пригодность в реальной жизни. Хотя очевидна истина, что сила государства превосходит силу отдельных людей. Так, разрозненные люди, собранные в войсковую единицу, получают дополнительную силу от скрепляющей их дисциплины, чувства товарищества, единения не только телесного, но единства воли, душ, устремлений.

Бывший председатель Госплана, человек, державший в руках все нити советской экономики, Н.Байбаков цифрами доказывал преимущество государственного планового руководства экономикой, говорил, что это новое слово в мировой экономической науке, но реформаторы школы Е.Гайдара, никогда ничем не руководившие, объявили выводы великого экономиста безнадежно устарелыми.

Люди, поверившие им, не догадывались, что устарелость советской экономики заключалась в том, то она работала только на благо советского государства и ни на один цент не приносила пользы американскому хозяйству. А всё, не шедшее на пользу Америки, заведомо (a priori) объявлялось отсталым, отжившим своё.

Единой государственной мощью была необорима советская держава. То была главная её опора. Второй опорой была уверенность в своих собственных силах, самодостаточности. Нарком К. Ворошилов сказал конструктору В. Грабину при испытании его нового орудия: «Хорошо, что пушка Ваша целиком изготовлена из отечественных материалов».

Этим был крепок и независим Советский Союз. У других развитых стран не было возможности присосаться к его экономике, не было возможности урвать себе хоть малую толику союзного богатства и изобилия.



Идеи, как и люди, стареют. Их сменяют новые. Утверждают, что идея, всколыхнувшая в начале XX века Россию, устарела, но кто возьмёт на себя смелость заявить, что она умерла?

В 1985 году золотой запас СССР составлял 2500 кг, а в 1992 году – 240 кг. Куда золото делось? У кого спросить? Сталин лично на себя не потратил ни грамма государственного золота.

Так ровным течением, заводями, омутами и водоворотами струился поток времени, и заодно с ним неостановимо текла людская жизнь с её думами, заботами и тревогами, работами, с её бедами и горем, с малыми и большими праздниками.

IX

Машина Животова, выдавший виды защитного цвета УАЗик, заехал во двор на Ленинградской и в сапогах-броднях, в куртке, в противоклещёвой накидке, со связкой различных удочек из крыльца вышел Внуков. Анна Григорьевна помахала им с балкона.

– Приедешь без рыбы, домой не пушу.

– Ещё посмотрим, кто кого не пустит, – смеясь, крикнул снизу Внуков и уселся в машину. Расселись так: за рулём Животов, справа от него Петя, на заднем сиденье Валя, генерал Чучков и Внуков.

– Вы, Викторин Андреевич, почему сказали, кто кого не пустит? – спросила Валя.

– Раньше у Анны Григорьевны такая шутка была: если приеду без рыбы, грозила меня выписать. Я её просветил и сказал, что справедливые советские законы не позволяют выписывать неразведённого супруга, тогда она завела другую пластинку.

– Вы и законы знаете? – с уважением спросила Валя.

– Что ты, Валюша, – захохотал Внуков, – если я ещё законы буду знать, что я тогда напишу? Но, кстати, в советских законах не написано, что человеку разрешается писать. Ни строч-



ки об этом в нашем гражданском и уголовном кодексе нет. Это я у знакомого юриста, – он выразительно посмотрел на спину Животова и даже показал пальцем, – проконсультировался.

– Да не показывай ты пальцем, не показывай, знаем мы твою говорильню.

Внуков озадаченно смотрел на Животова.

– Слушай, у тебя, что как у Шерлока Холмса – Ливанова нервные окончания на ушах выросли?

Петя засмеялся.

– Он за вами в зеркальце обратного вида следит.

Внуков поднял глаза и увидел в зеркальце вверху ветрового стекла улыбающееся лицо Животова.

– Слушай, Володя, – спросил он Животова, – у тебя нет знакомого скрипача?

– Зачем тебе?

– Узнаю комитетчика. Скрипача у него, наверняка, нет, а выведать зачем он кому-то нужен, надо. Я роман сейчас пишу, действующее лицо в нём скрипач, мне надо узнать термины скрипичные. А то я напишу, а придирчивый читатель скажет: вот Внуков, дураков ищет, сам ничего не знает, а других учит.

– Нет, к сожалению, у меня знакомого скрипача, – сказал Животов. Все в машине засмеялись.

– Что я говорил, – закуривая и слегка опустив боковое стекло, сказал Внуков, – я всю их кэзэбэшную систему изучил.

– Ну, допустим, не всю, – не согласился генерал, – для этого нужно чекистом родиться. А ты, Викторин Андреевич, другим родился: докукой для чекистов.

– Я, докукой? – с видом оскорблённой невинности стукнул себя в грудь Внуков.

– Конечно.

– Товарищи, граждане, соотечественники, будьте свидетелями, не я затеял этот разговор. Я – участник войны, патриот до седьмого колена, да что уж тут, до двадцать седьмого колена русский я и докука нашим доблестным чекистам. Почему? Потому что мне почтальон письма из-за рубежа ворохами носит, а я что думаю, то и отвечаю. А это видите ли не нравилось Юрию



Александровичу Андропову. Нашли за кем следить, я слова худого о Родине не сказал, и мне в отличие от некоторых «не нужен берег турецкий», чужая земля, а если прямо: Америка мне не нужна. Я не околачиваю пороги посольств и в ОВИРе, мне тут, в Тиховодске, в Сибири хорошо, а за мной следят, письма мои читают, да ещё подсылают разных полудурков с кретинскими вопросами: а что я думаю по тому поводу. А я ничего не думаю. Единственное, что мне нужно, чтоб меня и мою бедную, страдающую Родину оставили в покое, чтоб никакие забугорные дегенераты не учили меня, что мне на Родине любить, а что ненавидеть. Сам разберусь. И народ сам разберётся. Я – докука чекистам, да я им готов быть самым первым помощником, потому что без Третьего отделения государству не стоять. Только говорите людям правду. Но правду теперешнюю, а не семидесятилетней свежести. Нам уши пропели сталинскими репрессиями, а о том, что сейчас творится – молчок. Нынешние умники в США туда-сюда шныряют, а о чём за нашими спинами шушукуются, кому Родину продают, нам не говорят. В народе даже выражение «вашингтонский обком» появилось.

– Викторин Андреевич, Викторин Андреевич, – пытался успокоить генерал Внукова, – я не хотел, ну простите, я не то слово сказал, не знал, что вас так заденет.

– Василий Фёдорович, – Внуков подал руку генералу. – Всё правильно вы сказали. Но надо знать, что делаешь.

– Петя, – позвал Внуков.

– Да, Викторин Андреевич, – откликнулся смотревший в окошко Петя.

– Знаешь первую заповедь чекиста?

– А кто её не знает, – сказал Петя, – быть бдительным.

– Ну это ещё Кузьма Прутков сказал: бди. А самую главную, которая главней этой знаешь?

– Ну и, – сказал Петя.

– Перед прочтением сжечь!

Валя сначала не поняла и даже задала глупый вопрос: – А как же прочитаешь? – и захохотала. И хохотала три километра и двести пятьдесят метров, – сказал Петя, посмотревший на спидометр.



– Ну, Петька, – Валя шлёпнула его по голове, – за другими только и смотришь, может, не двести пятьдесят, а двести шестьдесят два метра.

– Я сказал двести пятьдесят, значит двести пятьдесят. – Петя повернулся на сиденье, чтобы возвратить шлепок. Валя защищалась, а Петя настойчивей махал руками.

– Молодёжь, -- коротко сказал Владимир Степанович, – мешаете вести машину.

– Как много писателю нужно знать, – сказала Валя, когда машина свернула с трассы на просёлок.

– Да уж, Валюша – отозвался Внуков, – Такова наша доля. Надо знать, чем отличается спенсер от спонсора, киллер от дилера, степлер от Кеплера, Геллер от Келлера и т.д.

– А что такое спенсер? – спросила Валя.

– Крупная фирма по производству одежды в Англии, – ответил Внуков.

– Ещё английский философ в девятнадцатом веке был, – сказал Петя. – Герберт Спенсер. Его Джек Лондон уважал.

– Вот видишь, Валюша, – улыбнулся Внуков, – не одни писатели много знают.

Машина миновала Сосновку, Погорелово, мелькали километровые столбы, а за окном расстилались поля, островки рощиц, смешанные леса, под короткими мостами струились лесные тёмные реки – привычный, родной русский пейзаж. По склонам пологих холмов ползли тени облаков. Их бесшумное, малозаметное движение вызывало думы о вечности родной земли. Припоминалось хрестоматийное:

Чудный день. Пройдут века,
Так же будут, в вечном строе
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.

Зноя ещё, правда, не было, природа наслаждалась концом весны. Уставшая от зимы, от монотонных завываний метелей, от лютых объятий морозов, от предательских оттепелей, от



тишины и немного, снегового молчания, она радовалась вновь родившейся жизни, цвела всеми оттенками зелёного цвета, от нежно-капустных крылышек липового цвета, до тёмного, терпко-зелёного цвета листков копытницы, от пастельно-сиреневых ирисов до ярко-бордовых завязавшихся ягод шиповника, трубчатых будыльев до баобабно-суровых жилистых стеблей лопухов, от шоколадных спин муравьёв и золотистых на солнце бочков синиц, до чёрных с зеленовато – сизым отливом пятен на крыльях сороки. И отовсюду звучало, то теньканье трясогузки, то свист, перещёлкивание и перепархивание ветки на ветку востроносых дроздов, то дробь трудолюбивого конопатчика-дятла, прерывистый стрекоток белочки, спешащей в гнездо к детишкам. Природа ликovala, плодоносила нарождавшимися юными жизнями, природа самым естеством своим славila Творца, создавшего и благословившего её.

– Какая красота, – вздохнул Внуков, упивавшийся пролетавшим за окном яростным буйством природы, – И как язык поворачивается у всяких дураков говорить о неброской северной природе. Да вы глаза-то разуйте, уши-то прочистите, пудру-то с мозгов стряхните.. Ещё Пушкин сказал: «Дивясь божественным природы красотам». Божественным! А мы гундо-сим: неброская, неброская. Вот отличие гения от обывателя. Там, где поэт видит божественное, обыватель не видит ничего особенного. Ты, Пётр, как думаешь?

– Да я никак не думаю, – буркнул Петя.

– Вот те на, – воскликнул Внуков. – А что так не ласково? И вообще чего ты помалкиваешь сегодня? В молчанку, что ли, задумал поиграть. А то только тебя и слышно. А, Пётр, – Внуков дотронулся сзади до плеча Пети.

Тот не ответил.

– Петроний, – Внуков потряс его за плечо.

– Он расстроен, – сказала Валя.

– Чем? Кто расстроил нашего Петра? А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!

– Ему учительница по литературе пару вlepила.

– Петру, пару?



Внуков испытующе глянул на Петю.

– Я думал, ты как Иосиф Виссарионович в Горийском училище только пятёрки получал. В чём дело?

Петя посмотрел на Валю взглядом, в котором можно было прочесть «предательница» (честолюбивый Петя смерть как не любил, чтобы кто-то знал о его неудачах) и нехотя стал рассказывать:

– Она мне не пару, а незачёт поставила. Ей приспичило, чтоб я сделал доклад о каком-нибудь современном писателе. Обещала за это пятёрку годовую поставить. Я купился. Нелады начались ещё при обсуждении названия. Она предложила мне работу озаглавить: «Высоцкий и война», она помешана на нём. Или её из министерства заставляют, не знаю. Я возразил: Высоцкий не воевал, и вообще в армии ни дня не служил. Она сказала, тогда «Война в поэзии Высоцкого», я сказал, что более уместно «Военная тематика в поэзии Высоцкого». Она поморщилась, но согласилась.

– А ты как сам-то к Высоцкому? – спросил генерал.

– Да не так, чтобы очень, – не обернувшись, ответил Петя, – Не люблю я, когда кого-нибудь раздувают.

– Это правильно.

– Откуда мог Высоцкий получить впечатления о войне? У него отец провоевал всю войну, но кем и где, в интернете не сказано. Написано, что был он связистом. Но можно быть начальником связи полка или по связисткой части окопаться в штабе армии. Это небо и земля. Штаб армии находился километрах в тридцати–сорока от передовой. Закончил он войну в звании полковника, служил за границей. Имеет двадцать орденов и медалей. Вроде бы неплохой показатель, но у медсестры Жукова на фронте было два ордена и восемь медалей, у Солженицына, на передовой не побывавшего ни дня, орденов четыре или пять. Так что число наград не показатель. Впечатления у Высоцкого о войне, были книжные, или народно-фольклорные, в число последних входили слухи, непроверенные факты, фронтовые байки и т.п. В годы жизни Высоцкого многие документы о войне были закрыты в архи-



вах, какие – либо факты о тех же штрафных батальонах не публиковались. Мы знаем о войне больше, чем знал Высоцкий. Это извиняет его, но в обществе сложилась точка зрения, что Высоцкий писал именно правду.

Наиболее часто исполняются песни о штрафных батальонах и о братских могилах. Рассмотрим их внимательней.

Первое впечатление, что штрафной батальон в песне это не воинское подразделение, а какое-то сборище людей, обречённых на неминуемую гибель. В их поведении выделяется одна черта – стремление к эпатажу. Какая-то истеричность, свойственная интеллигентской среде. Отсюда и презрение к водке, и то, что они не кричат «Ура», и выпад о коммунистах. Назойливое желание выделить себя, показать себя, что мы не такие как все. Смерть на поле боя за Родину уравнивается с приговором к высшей мере наказания: «кому до ордена, ну а кому до вышки». Об игре со смертью в молчанку могу привести мнение великого полководца древности Цезаря, который упоминает о крике во время боя, как о средстве, подбадривающем солдат в бою. В морской пехоте, которая стяжала не меньшую славу, чем штрафники, известна её громовая полундра.

И самое вопиющее «Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны». Для воинских частей, вводимых в прорыв, этот прорыв готовили. Кто же готовил прорыв для штрафных батальонов? И вообще роль этих батальонов преувеличена непомерно, во многом благодаря песне Высоцкого. Штрафной батальон формировался в армии, занимавшей фронт 100 км. В масштабах армии, насчитывавшей около ста тысяч человек (и гораздо большее) батальон численностью в 500 человек слишком незначительная величина. Штрафные батальоны могли использоваться для разведки боем на ограниченном участке фронта, а прорыв осуществляли вместе с обычными строевыми частями.

В «Братских могилах» о заплаканных вдовах, помните. Я заявил, что это сказано ради красного словца, потому что крепче, чем эти вдовы, людей нет. Приходила похоронка, а у женщины на руках трое или четверо маленьких детей.



– Что ж, сказал Внуков. – Если учесть, что военный опыт у тебя не больше, чем у Высоцкого и сделать скидку на так называемый, юношеский максимализм, в целом, это добротный анализ. Штрафные батальоны у Высоцкого основаны на кухонных интеллигентских разговорах о бездарных советских генералах, о пушечном мясе и тому подобное. Конечно, генералы всякие были, и мясо, но было и другое. У немецкого МГ-42 скорострельность 600 выстрелов в минуту, но если только наступать на пулемёт и ничего при этом не делать, то пулемётчику остаётся лишь стволы менять, чтоб не перегрелись. Как же мы до Берлина дошли? В приказах Верховного главнокомандующего я не помню случая, чтобы персонально выделялся какой-то батальон. Вклад в общую победу у штрафников есть, но он не так велик как нам внушают. Так что учительница твоя?

– Она ожидала, что я панегирик Высоцкому сотворю, расписывалась, сказала, что не ценю всенародно любимого, гонимого барда и велела всё переписать. Я отказался. И ещё я сказал, что Высоцкий не поэт. Потому что у него нет лирики. Он не учит, не воспитывает, он развлекает.

Тогда она рассердилась, закричала, что я тупой, ничего не понимаю, и будет жаловаться деду, что он неправильно меня воспитывает.

– Витя, – покручивая баранку и зорко следя за дорогой, спросил, не терявший внимания к разговору, Животов. – Ты среди нас самый, самый литературный профессионал. Скажи, Высоцкий поэт или нет? Просто, без закавык.

– Формально – поэт, если считать поэтом человека, умеющего рифмовать слова. Но ещё Пушкин сказал: Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет.

– И перьями скрыпя, бумаги не жалеет, – весело продолжила Валя.

Петя строго глянул на неё.

– Раздувают, конечно, Высоцкого сильно. У меня есть его двухтомник, я его весь прочёл, – сказал Внуков. – И долго не мог оценить его. Спасибо Петру, он сказал сегодня слово: истеричность, нервный надлом, крик. И, самое важное, нет в



его виршах глубокого, искреннего чувства. Не откликаются его стихи моей душе. Есть много мусора, это блатные, спортивные, так называемые лагерные его песни. Он в армии не служил, и в лагере ни дня не сидел. Блатная романтика – одно, а жизнь в зоне совсем другое. По радио и в газетах недавно шумели о парне, который из лагеря на вертолётё убежал. Журналисты, прости, Валюша, испражнялись на его счёт, а у парня трагичнейшая судьба. Первый шаг он, к сожалению, сделал сам, попал по дурусти за колючку. Сидел в детской колонии, перевели во взрослую. Три подонка в первый же день его изнасиловали, сделали отбросом. Он отсидел срок, вышел на свободу, откинулся, отыскал этих троих и всех убил. Скорей всего, всех, доказали одного, а то бы ему пожизненка светила. Дали пятнадцать лет, он восемь отсидел и решил бежать. Бежал на вертолётё. Его поймали, охрана первым делом отлупила до полусмерти, срок добавили. Практически вся жизнь за забором. Такая вот романтика. Не должно её быть. Сочинял Высоцкий стихи просто мерзкие. Позорно, что он сочинил их, во сто крат позорней то, что они опубликованы. Пушкин сказал: Прекрасное должно быть величаво. Вы что ж, думаете, Пушкин не мог писать стихи, которые кропал Барков. Пушкин мог всё, он думал стихами, но он гнушался барковской похабщины, он сочинение стихов именовал не иначе как священная жертва. Каждый из нас призван, в меру своего таланта, приносить эту жертву, но в стихах Высоцкого не то, что этой жертвы и признака нет, не заметно даже стремления к ней.

– Я считаю, Викторин Андреевич, вы прибегаете к запрещенному приёму, – вдруг пылко возразила Валя.

– То есть? – Внуков посмотрел на неё как на постороннего.

– Вы сравниваете Высоцкого с Пушкиным. Это не честно. Пушкин гений, а Высоцкий...

– Слышал я эти разговоры. Приносят мне, например, по почте бандероль, а их мне каждый день кипами носят, пишут со всего Союза. Так один деятель пишет в таком духе: я только начинаю писать, так вы строго меня не судите. Я и читать не стал, отослал, не читая. Милый мой, коли ты взялся писать,



так помни, что сказано в священной книге: Вначале было слово. Слово было у Бога. И Слово было Бог. БОГ!! Писатель, поэт становится богом, когда пишет. Нет ни Пушкина, ни Высоцкого. На этих весах человека взвешивают без льготных гирь. Для всех гири одинаковы. А вы, товарищ генерал, что о Высоцком скажете?

Чучков, задремавший на ровной дороге, вздрогнул, и, как старый чекист, прошедший все чекистские огни, воды и коридоры, мигом привёл в голове в порядок, что слышал вполуха.

– Что, Викторин Андреевич? – больше для того, чтобы окончательно войти в форму и, не дождавшись ответа, заговорил: – Я, как вы понимаете, не литератор, не критик, Поэт Высоцкий или не поэт, не мне судить, не моего ума это дело...

– Не царское это дело, – с иронией сказал Петя.

– Вот, вот, молодой человек, – сказал Чучков и, чтобы отплатить Пете за иронию, прибавил: – У нас в прежние годы был видный чекист Петерс, случаем вам не родня? – И пока Петя соображал, что ответить, продолжал. – Я вам расскажу один случай. Персонаж, о котором так увлекательно повествовал товарищ Петерс, – генерал посмотрел на Петю, – должен был приехать в Тиховодск.

– К нам! В Тиховодск! – с чувством несбывшейся радости воскликнула почти вся машина, доказав этим возгласом, что популярность Высоцкого была не дутая.

– Да, к нам в Тиховодск. В обком поступила об этом шифровка. На совещании у первого секретаря этот вопрос обсуждался в присутствии управления МВД, управления культуры. Предписывалось предоставить ему самые вместительные залы города, оборудовать современной аппаратурой, принять надлежащие меры для обеспечения общественного порядка, о его безопасности, агентурное обеспечение и прочее. Выражаясь литературно, готовилась целая операция. Все рассказы о стихийных концертах в Сибири и других местах, это болтовня. Всё было разрешено, подготовлено и обеспечено. Если бы власть была против, многотысячных концертов бы не было. Ему не дали бы их провести. Он не был борцом с системой, как



это сейчас пытаются представить. Поскольку мне дано слово, я позволю себе не согласиться с нашим молодым докладчиком. Не всё так плохо у Высоцкого...

– А я и не говорил.. – вскинулся Петя.

– ...мы вас слушали, не перебивая, – по-генеральски осадил Петю Чучков. – Есть и у Высоцкого, повторяю, достойные стихотворения, например, Песня о друге, как шутили у нас, о комсомольском работнике, «Он не вернулся из боя». И лирика у него есть. Конечно, очень мало. У него есть лирическое стихотворение, посвящённое похоронам Сталина.

– Высоцкий писал о Сталине?

– А что такого, в 53-м году он был советским юношей, патриотом, это ему потом внушили, что быть совком стыдно. Стыдно писать о Сталине, о родине, а о том, что

У нас любовь была, а мы расстались.

Она кричала всё, сопротивлялась, – это не стыдно, это похвально, это то, что надо.

– Товарищ генерал, Василий Фёдорович, – воскликнул Внуков. – Признаться, я приятно ошарашен. Я о генералах был иного мнения.

– Ага, – сказал Чучков, – только равняйся, смирно да вперёд. Нет. Это, прошу прощенья, интеллигентская болезнь, что все военные – дуболомы. Нет. Алексей Иннокентьевич Антонов, начальник Генштаба, генерал армии, был одним из культурнейших людей нашего времени.

– А Тухачевский делал скрипки, – вставила словечко Валя.

– Только тем и известен, – сказал Животов, – Но далеко не Страдивари.

– Что же ваш персонаж не приехал в Тиховодск? – спросил Петя.

– Неувязка какая-то, – ответил генерал. – Денег, кажется, много запросил. Нам не сообщали, сказали: отбой, мы и перекрестились.

Машина свернула с асфальтовой дороги на просёлок, нырнула под сень кустов, её начало подбрасывать на колдобинах. Все поневоле замолчали.



УАЗик углубился в лесные заросли, густой ивняк. Тут и там под колёсами взвивались прозрачные облачка сбитой колёсами цветочной пыльцы. Ветви хлестали по ветровому стеклу.

– Мы не заблудимся? – по мере того как машина всё глубже врезалась в заросли, спросила Валя не потому, что боялась в самом деле заблудиться, а потому что все молчали, а ей хотелось говорить.

Часа через полтора езды по лесным тропам машина остановилась.

– Кажись, приехали, – сказал Внуков, выпрыгнув из машины и разминая ноги.

– А где озеро? – спросила Валя.

– Ты, Валюша, тут впервые?

– Она вообще впервые на рыбалке, – пояснил Петя. – Дай, говорит, посмотрю, в чём заключается любимая забава русского народа.

Внуков, восхищённо глянув на девушку, захохотал во всё горло.

– О, держите меня. Вот это сказанула.

– Тише ты, – оборвал его Животов, – что ты гогочешь как пьяный запорожец. Всю рыбу распугаешь.

– Значит, наловит она, потому что везёт новичкам.

– Ещё кое-кому везёт, – протянул Внуков...

– Знаем мы, кому ещё везёт. Договаривайте, Викторин Андреевич. Дуракам и пьяницам, – сказал Петя.

Внуков, озорно глянул на него.

– Ну вы-то не те, и не другие.

– Да уж, конечно, – отозвалась Валя.

Через высокие заросли камыша и кустарники они сошли к небольшому озеру, метров двести – триста в поперечнике.

– Пётр, скажи мне правду, – шагая в высокой осоке, спросил Внуков. – где ты содрал фразу об истеричности столичной интеллигенции? Сам ты наблюдать интеллигенцию не мог, да и молод ты для таких выводов.



– Я ничего не сдирал, Викторин Андреевич, – спокойно ответил Петя. – Я для доклада собирал материалы. В списке источников к докладу указан журнал «Вопросы психологии», не помню, за какой год.

– Прости, меня сомнение взяло.

– Ничего, бывает.

– Как же мы будем ловить? – спросила Валя, – К воде не подойти. А бродней у нас нет.

– Не беспокойтесь, – сказал Животов, закатав брюки по колено, прошёл камышами и вернулся, волоча за собой цепь. – Ну, бурлаки, впрягайтесь.

Впятером они потянули за цепь и вскоре среди травы и камышей показалась лодка-плоскодонка до краёв бортов наполненная водой. Пошарив рукой, Животов извлёк из лодки, привязанную за ржавую гремучую цепь, старинную пудовую гирию.

Лодку перевернули вверх дном, вылив из неё воду.

– Она у нас хранится тут, гирей мы её притопим, а на озере гирия вместо якоря.

Все сели в лодку, один Внуков отказался.

– Милости просим в наш колхоз «Заветы вождя», – пригласил его Животов.

– Нет, – сказал Внуков, – я останусь единоличником.

– Смотри, чтоб тебя не постигло головокружение от успехов.

– Ничего, как-нибудь переживу. В крайнем случае, приму пирамидон.

– А его не производят.

– Не может быть, – не поверил Внуков.

– Может, оставим разговоры на обед. – сказал генерал, – тогда времени будет много.

– Приказ начальника, – согласился Внуков, в раскатанных броднях отошёл от лодки в сторону и забросил удочку.

Рыбакам в лодке не везло: у них не клевало. Поднимая гирию – якорь, они переезжали с места на место, меняли наживку – всё без толку. А единоличник таскал рыбку за рыбиной. Только закинет крючок, глянь, через минуту выхватывает из



воды, сверкающую на солнце, отливающую сверкучим серебром рыбёшку.

– Учитесь, пока я жив, – свистящим шёпотом послал по воде Внуков, протягивая руку за очередной добычей.

Животов и генерал сидели мрачные, поплавки их не шевелились, за всё время ни одной поклёвки.

Петя проявлял полнейшее равнодушие к тому, что и у него не клевало. Человек, склада характера созерцательного, он смотрел вокруг себя и наслаждался красотой природы. Утренний туман рассеялся, отчётливо прорисовались прибрежные заросли, коричнево-мохнатые (как уменьшенные до игрушечных размеров артиллерийские банники) шишки камышей, кусты ивы, купающие свои свислые ветви в воде, всё зеркало озера, отражающее в себе набиравшее дневную синеву небо, певших в приозёрных кустах птиц. Ему было радостно, что он среди этой природы, и он не один, с ним Валя, чудные любящие его люди, гораздо старше его, забавный шутник Викторин Андреевич, дед, генерал. От озера пахло утренней холодной влагой, и ему было безразлично, много или мало он поймает рыбы, одну, две, или вообще нисколько.

Туман расходился, солнце поднималось, приближался дневной жар, и скоро будет бессмысленно стоять с удочкой, а у них не клевало.

– А обещали, – обиженно проронила Валя. – Я уж и дома нахвасталась.

– А ты не хвастай.

– Эх ты, зайчишко-хвастунишко.

– Петька, убью.

– Чего вы на девку насели. Не тужи, Валюша, – сказал Внуков, – сейчас у тебя заклюёт, – он склонился к самой воде и с серьёзным и важным лицом, как будто веря, что слова его и в самом деле имеют волшебную, заклинательную силу, что-то проворчал в воду.

И надо же так случиться, что в этот миг поплавок Валиной удочки целиком унырнул под воду.

– Тяни, – сдавленно прошипел Животов



– Валька, тащи, – не вытерпев, завопил Петя.

– Молчи, дурень, – крикнул ему дед, замахав на него руками.

Валя чувствуя появившуюся на конце лёски, там, под водой, пружинящую тяжесть, потянула на себя удилище. Оно согнулось дугой и вот, выдернутая из своей родной стихии, на солнце заблестела полоска живого, бьющегося серебра.

– Снимай её, – опять шипя приказал Животов.

– А как? Я не умею, – беспомощно спрашивала Валя.

Животов с генералом вскочили в лодке и, качая её с борта на борт, рискуя опрокинуть, ловили руками, летавшую мимо них рыбку.

Она мелькнула перед лицом Пети и он успел сцапать её, живую, вёрткую и скользкую.

– Сорога, – сказал генерал, когда добытая рыбка плавала в ведёрке на дне лодки.

– Слава Богу, что не упустили, – вздохнул Животов.

– А если бы упустили? – спросил генерал.

– Этот бы щелкопёр, – кивнул Животов на Внукова, – со свету бы сжил.

Внуков, улыбался, ехидно поглядывая в их сторону.

– Как эти люди будут ловить врагов народа, если не могут поймать какую-то ничтожную рыбёшку, – сказал он. – Я бы вас вывел на чистую воду.

С этого момента начался не долгий клёв у всех. Минут двадцать, пока солнце не встало высоко и не облило своим светом всё озеро, и кусты, и камыши, и украшенный множеством ромашек луг на склоне холма, они таскали одну рыбку за другой.

И вдруг как отрезало. Теперь нужно было ждать вечернего клёва. Но ночлег не был предусмотрен программой и сразу принялись за уху.

С добычей вышли на твёрдый берег, разожгли костёр (распотку Внуков, как бывалый охотник и рыбак захватил из дома), шефповарил Внуков, знаток многочисленных рецептов и обычаев приготовления ухи, когда солить, когда влить в уху для вкуса несколько ложек водки. Кто резал картошку, морковь, кто чистил лук.



Только вышли на берег, как из сита, засеял мелкий дождёк, зашептал по листьям.

– Водка? В уху? – удивилась Валя. – Да мы все тут пьяные будем.

– Глупая, – смеялся Петя. – несколько ложек на котелок, это слону дробина.

– Нет, я с ним больше в одну машину не сяду, и не уговаривайте.

– С кем?

– С ним, – Валя показала большим пальцем за плечо на Животова. – Он сюда гнал как бешеный, я чуть рассудка не лишилась, а водки хлебнёт, тогда точняком нас в канаву вывалит.

– Кто кого вывалит? – спросил Животов.

Валя, опешив, покраснела, приложила ладонь ко рту, но буквально брызнула смехом, из за ладошки вылетели капельки слюны.

– Ой, кто это?

В голосе её было столько неподдельного страха, что Петя посмотрел, куда Валя указала рукой... С берега к ним спускался мужчина. Снизу он показался чуть не вдвое выше человеческого роста, а широкие сутулившиеся плечи, свисающие руки и слегка косолапая походка придавали ему сходство с медведем.

– Я боюсь, – сказала Валя

– Что ты, – Петя обнял её за плечи. – Обыкновенный деревенский житель.

А человек подошёл, и оказалось, что роста он просто большого, плечи у него действительно широкие, но сходство с медведем не пропадало. Глаза у него были смеющиеся, добрые.

– Здорово-те, – сказал он весёлым, добрым голосом.

– А, дядя Боря, – отозвался как знакомому Животов, подал ему руку и сказал вполголоса: – Хозяин нашей лодки.

– Борис Фирсович, – прекратив чистку рыбы и поддёргивая закатанные до локтей рукава, шёл к гостю, раскрыв объятия Внуков.



– Викторину Андреевичу, – сняв с головы кепку и дотронувшись ею до земли, гость заключил в объятия Внукова.

– Тише, осторожней, рёбра сломаешь, – вскрикивал Внукова, – силищи-то как у Топтыгина.

Борис Фирсович обошёл всех, подавая всем большую, как лопата, руку. «Ну и ручка, – подумал Петя. – как у Сонни Листона».

– Вижу кто-то приехал, – говорил Борис Фирсович, – теплина дымится, дай, думаю, посмотрю, кто?

– Да полно, Борис Фирсович, Ваньку валять, казанскую сироту из себя строить, – разоблачал его деревенские хитрости Внуков, – ты поди-ко с самой высокой сосны нас ещё утром увидал, как мы только из Тиховодска выехали, а тут увидел, что водку достали, и вышел, чтобы шефскую помощь оказать.

Смущённая улыбка, показавшаяся на лице Бориса Фирсовича, подтвердила, что насчёт водки Внуков недалёк от истины.

– Скоро у вас? – крикнул Внуков Животову и генералу, верховодившим у костра.

– Подождёшь, ему не терпится, – огрызнулся Животов.

– Да я ведь не о себе пекусь, я человек неприхотливый, я до утра готов ждать, но ведь среди нас девушка, – он подмигнул Вале, – у ней живот с голодухи подвело.

– Нет, нет, – сказала Валя, но Петя пожал её руку: Внуков дурачится.

Дождик из мелкого сеева перешёл в настоящий, ударил гвоздевыми струями, зашипел на головёшках..

– Эх, – махнул рукой генерал, всё насмарку, – Есть уху в машине – что за смак?

– Зачем в машине, – сказал Борис Фирсович, – а изба моя зачем?

– До избы идти, да проситься.

– Куда идти, на берегу она, видна отсель.

– Давайте, шевелитесь, хозяин зовёт, – торопил всех Внуков.

Быстро окучили рюкзаки, удочки, снасти, котёл с костра и через пять минут входили в избу, где на пороге встречала гостей хозяйка – Мамелфа Тимофеевна.



– Как мать у Добрыни Никитича, – шепнул Петя Вале.
– А Фирсович – Добрыня, – Валя прижалась на мгновение сырым лицом к его щеке.

– Я думал, такое имя только в былинах встречается.

– А Фирсович точною от медведя произошёл. Уж очень похож. Дожил до наших времён в каком-то историческом закутке.

– Чего, милые мои, тут топчетесь, – понукал их хозяин, заносивший хранившиеся в колодце тарелки со студнем, – заходи в избу-то, красавица.

На середину стола поставили котёл с ухой, тарелки, разложили ложки с вилками, два блюда с хлебом, мыли руки, ходили по избе.

– Петь. – Валя поманила Петю ладошкой.

Петя подошёл, подивившись дремучести сельских жителей: в красном углу, где обычно у крестьян помещаются иконы в соседстве с многочисленными фотокарточками в рамках, справа и слева от иконы Николая угодника помещались: Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачёв и Ельцин.

Этот «иконостас» заметил и Внуков. Зная по одной из частушек, что Борис Фирсович «Девяносто песен знает, а молитвы ни одной», он спросил о таком странном соседстве у хозяина.

– Боря, как ты объяснишь сию картинную галерею?

– Это мать моя Ленина со Сталиным прикрепила, а остальных Мамелфа. Говорит, что в Библии написано: нет власти не от бога.

– С Библией, в частности, с Новым Заветом спорить не будем. Давайте, давайте все к столу. Восточная мудрость гласит: водку нужно пить холодной, а уху есть горячей.

Все сидели за столом, дождь лил за окном, бежал ворчливым, бурным ручьём по жестяному водосточному желобу у крыльца веранды.

Борис Фирсович встал (стопка была как наперсток в его ладони), сказал, что они с женой очень рады дорогим гостям и провозгласил их здоровье.

Затем встал Внуков, расхвалил хозяина, поведал о его истине богатырской силе (Борис Фирсович в войну метал про-



тивотанковые гранаты, как обычные, пехотные и один нёс на себе опорную плиту 120-мм. миномёта), о его буйном характере, из-за которого он угодил в штрафную роту, а в советско-японскую войну на десять лет в лагерь.

– Такими богатырями стояла и стоять будет земля русская, – сказал Внуков и высказал сожаление, что не может налить хозяину стакан, поскольку водки взято мало.

Валя искоса поглядывала на медведеобразного хозяина и не знала верить ли словам Внукова о том, что однажды в рукопашной схватке Борис Фирсович заколол штыком шестерых немцев, заколол бы и седьмого, да сломался штык, тогда он в ярости ударом кулака в лоб убил его. Столько было любви и отцовской, даже дедовской нежности, когда он сказал им с Петей «милые мои», что так и тянуло сказать общеизвестное: «он и мухи не обидит.»

Вдруг она услышала своё имя. Очнувшись от задумчивости, она увидела Внукова, приглашавшего её спеть.

– Спой, Валюша, спой, порадуй людей, – говорил Внуков, призывая жестами разговорившуюся компанию к тишине.

Дождь припустил сильнее, слышно было, как хлещет по крыше.

– Как же мы поедem, – вполголоса проговорил Животов.

– Ничего, Вова, прорвёмся, – сказал ему так же тихо генерал.

– Тише, тише, – сказал Внуков.

Валя встала за столом, перекинула обе толстые косы со спины на грудь, отчего лицо её стало выглядеть в рамке, взялась за концы кос, обвела всех взглядом светло-серых проникающих глаз и своим грудным, нежным, мягким, зазывным голосом запела.

Всякий, кто слышал Валю поющей, не мог не бросить всё, чем бы он ни занимался в этот миг, и не слушать её.

Валя пела давнюю песню, как пишут музыковеды, литературного происхождения, но её многократно записывали, как народную. Люди в деревнях и в городах певшие её, не знали автора текста и уж тем более композитора, но песня жила в народе, в годы Великой Отечественной войны она была близ-



ка действительности и одним этим трогала и волновала женские сердца.

В песне рассказывалось об армии, шедшей в поход, о молодом офицере – кавалеристе, попросившем напиться у девушки, о вспыхнувшей, помнившейся всю жизнь любви.

Всю-то ноченьку мне спать было невмочь.

Раскрасавец барин снился мне всю ночь, – пела Валя и вся жизнь девушки проходила перед глазами. А когда Валя пела о вдове, в голосе её, не знавшей ни замужества, ни вдовства звучала такая глубокая нежность, сострадание, столько тоски и мечты о любви, которой суждено было остаться всего лишь мечтой, что у слушателей захватило сердце.

Животов украдкой покосился на Внукова. В натуре своей, несмотря на насмешливость и готовность на шутку, Викторин Андреевич как и большинство писателей был психопатом, способным живо откликаться на любое движение души. Слезы текли по его щекам. Плакала и Мамелфа Тимофеевна, подперевшись старушечьим кулачком под щёку.

Валя замолчала. Внуков подошёл, мокрой от слёз щекой прикоснулся к её щеке, поцеловал в лоб.

– Молодчина, – сказал он и вдруг вздрогнув, встрепенувшись словно вспомнив что-то забытое, горячо заговорил:

– Вот что петь надо. Вот что должно в концертных залах, а не в избах звучать. А нас принуждают, что слушать? Говорят, не нравится, выключи, но жизнь не выключишь, если это всюду звучит, куда ни шагни. Ещё совсем недавно песни были другие, а сейчас песню родную не услышишь. Слушай Высоцкого, а что русского в нём, слова только, а всё остальное – дух чужой. Бродского нам навязывают в национальные поэты. А во всей его поэзии нет сотой доли того, что есть в «Добром Филе» Рубцова. О Высоцком снимают сериалы, а о Рубцове не будут, потому что там русская жизнь, корневая, а тут.

– Андреевич, – Борис Фирсович встал взволнованный, сжимая свои страшные кулаки – кувалды. – Что ты разошёлся, чего так расстроился. Выпей лучше. Кто твой враг, скажи, я хоть и старый, а любому голову отвинчу.



– Прости Боря, – сказал он, – видно, старею, завожусь без оборота. Это у нас давешний, ещё дорожный разговор. Прости. Пора, друзья мои, собираться, погостили, надо и честь знать.

Машина, проваливаясь в рытвины, залитые водой, буксавшая, всё же выбралась на трасу и помчалась в Тиховодск.

– Когда в следующий раз соберёмся? – спросил Внуков на въезде в Тиховодск. – Съездили по-моему не плохо.

– Не просто не плохо, а отлично. И половили, и уши поели, и песен послушали. Недели через две-три, – сказал генерал.

– Нет, я не могу, – сказал Петя.

– А что такое?

– Почему? – посыпались вопросы.

– Ты, Пётр не обиделся? Так прости, если я поворчал на тебя, – сказал генерал.

– Я не обиделся, но мы с Валею в экспедицию едем. Последний звонок в школе дадут, а через неделю мы выезжаем. Мы с Валею – бойцы поискового отряда «Патриот», ищем останки павших воинов.

– Интересно. И далеко ездите?

– В Загорский район

– Кто же нам петь-то будет?

– За нужду и сами споём, а ребята пусть едут, дело хорошее.

Х

Дождь лил всю ночь. Роман слышал его сквозь сон и во сне думал, что если дождь не уймётся, то сорвётся бетонирование лотка. К нему готовились, бригада Думенкова опалубку сделала на совесть, старший прораб Лёва подгонял всех, а в дождь, когда полощет как из-под крана, какое бетонирование.

Но день выдался погожий, солнечный. Роман, собирая Сашу в сад думал, радостно глядя на солнечные лучи, наполнявшие комнату: «Хорошо, хорошо, добро».



Первым, кого он увидел, выйдя на крыльцо, был Вениамин, сосед по двору, мужик лет сорока, инвалид детства, влочивший вывернутую в голеностопе ногу, с глупым лицом, красного цвета, словно начищенного наждачной бумагой. Говорил он плоховато, гнусил, заикался, но понять было можно.

– Здравствуй, Роман, – поздоровался он.

– Здравствуй, Вениамин, – ответил Роман, безразлично пожимая его руку: от Вениамина постоянно чем-то пахло.

– Ты, Роман, не обижаешься на меня?

– На тебя, – оглянувшись в коридор: что Саша там копается, – за что?

– Ты с друзьями-то как-то ночью выпивал, так я бутылки после вас сдал, а вас не спросил.

«Какая ерунда, – подумал Роман, – о бутылках разрешения спрашивать» и спросил:

– Ты не спал, что ли, ведь уже ночь была.

– Я, когда мне не спится, гуляю по двору и думаю.

– О чём же ты думаешь, – стараясь сказать это без иронии, спросил Роман, настолько глупое лицо Вениамина не вязалось со словом «думать».

– О Тиховодске, – сказал Ваня.

Шагая с Сашей в сад, Роман вспоминал интонацию голоса Вениамина. «Выходит, не ты один думаешь и любишь Тиховодск. И не один Веня такой.»

Дойдя с Сашей до садика и поцеловав его в голову у калитки, что вела на игровую площадку, он поспешил на автобус, увозивший рабочих в Валерьевское...

Автобус с рабочими остановился на центральной площадке, рабочие расходились по бригадным вагончикам.

Старший прораб Лев Александрович (среди рабочих Лёва) в штабном вагончике включил радио. Репродуктор на мачте бодро провозгласил:

Продолжаем концерт по заявкам. Песня из кинофильма «Битва в пути». Заиграл оркестр и мужской хор широко, просто начал:



Руки рабочих, вы даёте движенье планете.
Руки рабочих, мы о вас эту песню поём.
Руки рабочих, создают все богатства на свете,
Землю родную прославляя трудом.

Под это пение на площадку приезжали бригады, звенья и отдельные рабочие электро- и газосварщики, стекольщики, приехал автокран для разгрузки решёток для устройства полов в коровниках*электрики, в числе всех прибыл корреспондент из районной газеты «Маяк» Дмитрий Куркин с заданием взять интервью у старшего прораба и сделать репортаж о самой крупной стройке в районе.

Следом за рабочими на площадку заруливали самосвалы с раствором, с плитами перекрытий, перемычками, отмечали путёвки в штабном вагончике и доставляли привезённое непосредственно к той или иной бригаде.

Начинался очередной, похожий на многие трудовые дни день. За день удавалось сделать немного в масштабах большой стройки, но постепенно, пчелиным трудом делалось общее дело и комплекс рос.

Когда утренняя нервотрёпка улеглась и день вошёл в привычное трудовое русло, Куркин взял интервью у Лёвы. Интервью состояло из того, что старший прораб перечислил проектные данные по комплексу, его сметную стоимость, количество объектов, число работающих, сроки ввода в строй и т.п. статистику, которая была мало интересна Куркину и едва ли будет интересна читателю. Куркину хотелось живого рассказа, ярких деталей, но Лёва, видевший эти яркие детали уже больше года, обходился общими рассуждениями, называл фамилии утверждённых начальством передовиков. Добротного репортажа не получалось.

Куркин высказал пожелание прогуляться по комплексу. Лёва поморщился, только ему и дела, что гулять, у него других забот полно, но корреспонденты не каждый день приезжают.

Лестница-временка у входа в вагончик скрипнула и в вагончик вошёл Роман.



Лицо Лёвы так просияло, что Роман даже спросил, замерев на мгновение:

– Лёва, у тебя чего, праздник сегодня какой?

– Праздник, праздник, – не думал скрывать радости Лёва, – ты пришёл. Вот корреспондента надо по стройке провести, а я занят.

– А я не занят? Мне одному нечего делать?

– Скоро главный инженер треста приедет, дел невпроворот. Ну, иди, иди, уговаривать ещё тебя.

Роман с Дмитрием вышли из вагончика. Из-за леса, разбрызгивая лучи по верхушкам деревьев, вставало солнце, лес полнился пением, стрекотом птиц, а перед взором Романа мужики, работающие на траншее, рабочие, сколачивающие опалубку под фундаменты больших электромоторов, монтажники, устанавливающие металлические фермы, стрела автокрана на сенажных траншеях, звук работающего компрессора и красный флаг, реющий на флагштоке у вагончиков; всё увиделось ему единой, цельной, не раздёрганной на клочки картиной и на мгновение чувство красоты и гордости за совершающееся тепло повеяло в сердце.

В детстве ему подарили книгу, в которой было помещено похвальное слово русской работе.

Русский народ самый трудолюбивый и работающий народ в мире. Русская работа всегда служила мерилом качества, добротности и красоты. Русское – значит, сделанное на века. До сегодня возносят к небу свои кресты церкви, построенные при великих князьях да царях, слава о русских золотых и серебряных дел мастерах пронеслась по всей Европе. Русские инженеры возводили мосты через широкие реки. Самая длинная железная дорога в мире построена русскими руками, русские литейщики не знали себе равных, отливая колокола и пушки. На всемирной выставке в XIX веке в Лондоне все ходили смотреть на статую России, отлитую в образе древнерусского воина, восхищаясь красотой скульптуры и качеством её отделки. В России был построен четырёхмоторный самолёт, о невозможности построения которого в один голос заявляли европейские и аме-



риканские инженеры, а русский гений И. Сикорский построил и поднял его в небо. Многое в мире превращено из небытия в бытие русскими руками, умными руками человека – творца.

Дайте свободу, широту русской работе и она покажет себя.

Роман с корреспондентом подошёл к строящейся трубе у котельной. Сверху слышался ритмичный позвон мастерка трубоклада Володи Беляева, заканчивавшего двадцать четвёртый метр трубы. Вместе со звуком мастерка, которым Володя пристукивал каждый положенный кирпичи, он насвистывал какую-то, судя по мелодии, комсомольскую песню:

А мы работаем, пускай устали мы,
Но от усталости никто не хмур.
Под вечер солнышку мы скажем на небе:
«Не уходило б ты на перекур».

Свист далеко разносился с трубы. Слышали его не только рабочие, но и муравьи в большом муравейнике на опушке леса, и серый заяц в своём убежище, и птенчики чибиса в плетёном из сухих травин чашечке – гнездышке на лугу, и серебристо посверкивающий на солнце ручей, перебегавший дорогу на Марково.

Журналист Куркин подумал, что рабочему нравится работа, раз он так весело и бодро сопровождает её песней.

«Сфотографировать бы его» – подумал Куркин и спросил Романа об этом.:

– Залезай на трубу и фотографируй, – сразу начавший говорить корреспонденту «ты», сказал Роман.

Высота была приличная. И Куркин не струсил, а просто не понимал, как он полезет на трубу.

– А когда он спустится?

– В обед.

– И это четыре часа там? А если воды захочет попить, ведь жарко.

– У него чайник с водой там. Ладно, подожди. Хоть без ругани не обойтись. – Роман подошёл к лебёдке, которой поднимали на трубу раствор, и крикнул:



– Эй, Вовка! Беляев, эй!

Над рядами кирпича появилась всклокоченная голова.

– Чего надо?

Роман, ничего не говоря, показал пальцем вниз.

– Некогда, только работать начал.

– Беляев! – приказным тоном сказал Роман и пригласил Куркина зайти сзади трубы. – Посмотри, как он вниз побежит.

Свист умолк, на смену ему раздалась возмущённая ненормативная лексика, смысл которой заключался в том, ходят тут всякие, не дают честным людям работать, давать процент.

Роман с улыбкой слушал ругань.

– Сколько он даёт процентов нормы, – принимая вопли Беляева за чистую монету, спросил Куркин.

Роман подивился наивности корреспондента: какие на стройке нормы, когда, бывает, до обеда раствор не привезут. Ещё бы про соцсоревнование спросил, которого никто и никогда на стройке не видел.

Наконец над обрезом трубы показалась одна нога, потом другая, затем и весь их хозяин, а дальше Куркин подумал, что такое можно увидеть только в цирке. Человек спускался вниз по торчащим из кладки железным скобам с такой скоростью, так проворно мелькали его руки и ноги, что Куркин со страхом думал: вот, вот сейчас сорвётся.

– Артист, – сказал Роман, видевший это не впервые.

Перед Куркиным стоял лишь слегка запыхавшийся, голый по пояс молодой парень, двадцати с небольшим лет. Крепыш среднего роста, грудные мышцы как медные блины на груди, хорошо развитый плечевой пояс, накачанный пресс. Карие, умные и смелые глаза.

– Вот такие у нас, – Роман замялся, затрудняясь охарактеризовать Беляева. – Орлы, чудо-богатыри.

– Рад видеть. – Куркин протянул руку.

– Сфотографировать тебя хотят для газеты. Хоть бы ты оделся – сказал Роман, предупредив хотевшего сказать это же Куркина, – в газете голых не печатают. Это ж нарушение техники безопасности. Меня взгреют в тресте.



– Эт мы сейчас поправим, – сказал Беляев, сунул в рот пальцы, коротко свистнул. На трубе появилась голова в матерчатой кепке в цветочек.

– Рубаху скинь мне, – попросил Беляев, и через минуту на кучу песка шмякнулась его рубашка. Беляев встряхнул рубашку, из которой на песок выпал обломок кирпича.

– Догадливый, – сказал Роман, – а то бы ветром унесло в лес.

– У нас все такие, – подмигнув, ответил Беляев, натягивая рубаху на покрытые мелкими бисеринками пота плечи, причесал вихры пятерней...

– Положите правую руку на трубу, повернитесь ко мне – попросил Куркин, снял три кадра, отбежал шагов на десять, – Теперь на фоне трубы, – говорил он, радуясь, что в голову пришёл хороший заголовок кадра: Дело – труба! – и он наверняка понравится редактору.

– Сейчас пойдём к нашей лучшей бригаде, Саши Думенкова, – сказал Роман.

Куркин, шагая по грудам земли, высказал недоумение, что в бригадах все называют друг друга по имени, только к пожилым рабочим, впрочем, добавляя слово «дядя». На его взгляд это выглядит как панибратство, фамильярность. Это же снижает авторитет бригадира, какого – никакого, а начальника.

– Ты знаешь, – сказал Роман, – недавно об этом в «Строительной газете» заметка была. Это обращение по именам в бригаде отзвук артельной организации труда в России. Тогда работали артелями, и артель ощущалась как семья. А в семье никто не называет отца или старшего брата по имени – отчеству. И уж тем более не обращается на «вы». Обращение на «вы» принесено к нам с запада, хотя это обращение не мешало на английском флоте времён Нельсона пороть матросов как сидоровых коз. Все рассказы о гуманном, человеколюбивом западе придуманы для легковых недоучек.

Бригада Думенкова, когда они подошли к ней, перекуривала, сидя на откосе траншеи. К удивлению Куркина никто из бригады не смутился при виде подошедшего мастера, не вскочил и не кинулся скорей работать.



Первым кончил курить Думенков, худощавый, с весёлыми сообразительными глазами, стриженный по-советски «под бокс». Сразу все стали тушить папиросы, бросали их на землю, давили каблуками. Все поднялись, но тут Женя Малесов, бригадный говорун и остролов, знавший множество непристойных присловий и прибауток, спросил:

– Вот ты, Роман батькович, человек грамотный, газеты читаешь, правда ли, что трест наш и управление, в котором мы работаем, хотят приватизировать, сделать частной лавочкой?

– Газеты-то ты и сам читаешь, поскольку такие вопросы задаёшь, но дело всё идёт к этому.

– Тогда другой вопрос. Управление наше прибыльно или убыточно?

– Конечно, прибыльно, иначе нас давно бы всех разогнали.

– А раз прибыльно, так на кой ляд, я в толк не возьму, отдавать прибыльное предприятие кому-то в руки и прибыль пойдёт не государству, а кому-то в карман.

– Новый владелец не будет прибыль класть в карман, он будет налоги платить.

– Роман, ты ровно не знаешь, что налогов будет новый хозяин платить как можно меньше, чтоб мощну себе потуже набить. Кому это выгодно?

– Женя, ты зачем у меня спрашиваешь, политика такая государством проводится.

– Кончай выступать, тут не митинг, – оборвал их Думенков, – работать пришли, а не митинговать.

Куркин был чрезвычайно доволен, и фотографию классную привезёт и разговор у траншеи поможет сделать хороший, сочный репортаж.

– Роман, – спросил он, – и часто они, рабочие, такие разговоры ведут.

– В вагончике большей частью. Почти каждый день.

– Смело, я вижу, говорят.

– Это что, – с чувством какого-то сожаления сказал Роман, – как они Горбачёва кроют, только хохолья от него летят.

– А Ельцина любят?

